





Леонтий РАКОВСКИЙ



ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
АДМИРАЛ УШАКОВ
КУТУЗОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Р19

Серия основана в 2007 году

Раковский Л. И.

Р19 Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков; Кутузов: Исторические романы. Полное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1276 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0725-5

В настоящее издание вошли три знаменитых исторических романа известного русского писателя Леонтия Иосифовича Раковского (1896 — 1979), художественно ярко и с научной достоверностью повествующих о жизни и деятельности выдающихся русских военачальников. Судьбоносные победы армии и флота под их началом изменили ход истории России в конце XVIII — начале XIX века.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0725-5

© Раковский Л. И. Наследники, 2017
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ПОДПОЛКОВНИК СУВОРОВ

I

Русская армия шла вперед.

Вся дорога, насколько можно окинуть глазом, была запружена повозками и пушками, людьми и лошадьми. Из лощины на гору, с пригорка в дол, сквозь перелески и буераки, мимо чистеньких немецких мыз и деревень бесконечной вереницей один за другим тянулись полки.

Побуревшие от солнца и пыли зеленые кафтаны мушкатеров и гренадер сменялись красными кафтанами артиллеристов. За однообразными васильковыми мундирами драгун и такими же однообразными колетами¹ кирасир плыли разноцветные — желтые, синие, красные, белые, голубые ментики² гусар. Казачьи бороды и скуластые лица башкир из легкой кавалерии мелькали и там и тут. В тучах густой пыли, поднятой тысячами людских и конских ног, тонули придорожные луга и поля.

Армия графа Салтыкова, разбив пруссаков под Пальцигом, продвигалась к Франкфурту-на-Одере.

Подполковник Александр Васильевич Суворов, прикомандированный в качестве дежурного офицера к штабу 1-й дивизии генерала Фермора, ехал по обочине дороги на своем неказистом на вид, но горячем донце. Генерал Фермор послал его подтянуть арьергард, и теперь Суворов догонял свою дивизию.

Суворов только что прибыл в действующую армию и с интересом наблюдал за всем. И в первый же день ему многое здесь не понравилось.

Армия двигалась очень медленно — часто останавливалась на дороге. То падал от бескормицы упряжный вол, то где-либо в обозе ломалась телега, не вынесшая далекого, тысячеверстного пути, и проходило несколько минут, пока фурлейты³ не сбрасывали ее в

¹ Ко лет — куртка с короткими полами.

² Ментик — гусарская куртка.

³ Фурлейт — обозный солдат.

канаву. То измученные, исхудавшие в непрерывных походах артиллерийские лошади не могли втащить на гору двухкартаульную¹ гаубицу, пока ее красный лафет со всех сторон не облепляли артиллеристы.

И сразу весь этот поток останавливался. Повозки наезжали друг на друга, напирали на идущую впереди пехоту. В воздухе стояла ругань.

Эта медлительность, эти бесконечные остановки раздражали Суворова: в его представлении армия должна быть подвижной, быстрой, а на деле — она еле плелась, с трудом делая по восьми верст в сутки.

Энергичный, горячий Суворов не мог дремать в седле, как делали многие офицеры. И он был доволен, что генерал Фермор послал его с поручением к арьергарду.

Суворов видел всю армию на походе.

Его неприятно поразила необозримая вереница этих полковых и офицерских обозов.

Еще раньше Суворов знал, что в армии большой некомплект: много солдат осталось в России — «у корчемных сборов», «у соляных дел», «у сыску воров», «для поимки беспаспортных» и для прочих невоенных дел. В пехотном полку вместо положенных двух тысяч солдат едва насчитывалось полторы. И те совершенно тонули в бесконечном множестве колясок, повозок и телег.

Вслед за 12-й, мушкатерской ротой каждого полка обязательно тащилось больше сотни подвод.

Первой шла денежная палуба. На ней стоял окованный железом денежный сундук. Весь полк знал, что в сундуке пусто, но по обеим сторонам палубы, с фузеями² наперевес, брели двое мушкатеров.

За денежной следовала канцелярская, на которой, уткнувшись головой в мешок с овсом, безмятежно спал аудитор³.

Дальше тянулись госпитальные повозки с легкоранеными, заблевающими, отставшими в пути солдатами, с полковыми фельдшерами и цирюльниками.

Тяжело поскрипывали провиантские палубы с мешками муки и солдатскими сухарями, — другого провианта не было. Тарахтели палубы с шанцевым инструментом. Белелись палаточные.

Полковой обоз кончался. За ним начинался самый многочисленный и пестрый — офицерский. Тут, в кибитках и колясках, ехали офицерские жены и любовницы. Повозки были набиты до-

¹ Картауль — калибр пушки, у которой бомба весила пуд.

² Фузея — ружье.

³ Аудитор — военный чиновник.

верху разным домашним добром — кроватями, пуховиками. Более запасливые везли в клетках кур и гусей. Где-то визжал поросенок.

На повозках ехали и возле повозок шли сотни денщиков, поваров и прочих офицерских слуг, набранных из строевых солдат.

И наконец, весь полковой обоз замыкали роспуски с деревянными рогатками, которыми каждый полк ограждал себя на биваках и в бою от набегов вражеской конницы.

Суворов не мог видеть этих краснорожих денщиков и офицерских жен и старался поскорее проскочить мимо них, чтобы ехать возле рядов мушкатеров или гренадер.

Он нагнал пехотные полки 3-й дивизии графа Румянцева и ехал, невольно слушая, что говорят сбоку.

— Не переключивай фузеи с плеча на плечо — легче не станет, — поучал какого-то, видимо, молодого, малохожалого солдата «дядька». — Коли вбилось тебе в голову, что тяжело, то хоть последнюю сорочку сыми, все тяжело будет!

В другой роте кто-то рассказывал, вспоминая:

— Отец мне и говорит: «Полно тебе, Лешка, баловать, пора умом жить. Я тебе сосватал Федосью». Бухнул я отцу в ноги: «Смилоствись, тятенька». А он и ухом не ведет. Всю неделю до свадьбы пропьянствовал без просыпу. Обвенчали. На другой день оглянулся я, да поздно. Жена — смиренная, работающая, годов на десять меня старше. И бельмо на глазу. А мать у нее вовсе слепая. Парни смеются: у вас, говорят, на троих — всего три глаза. Озверел я. Избил жену и пошел на сеновал. Лежу и слышу — у нас на задворках бабы судачат: «Видала, Лешка-то свою хозяйку окстил? Знать, любит, коли бьет!» Я вскочил да в кабак. А потом повалился отцу в ноги: «Сдавай в солдаты, не то руки на себя наложу...»

Несколькими рядами дальше шел другой разговор:

— Подошву чистым бы дегтем намазать, да золой присыпать, да выставить на солнышко — всю Европу на них прошел бы, а то вон уже на подворотках иду!

Суворов поравнялся с Апшеронским полком, который шел непосредственно за полками 1-й дивизии. Подымались на гору, ехать быстро было нельзя.

Суворов смотрел на рослых, плечистых мушкатеров 1-й роты. Немного впереди него, крайним в ряду, шел молодой русоволосый солдат. Он то и дело подергивал плечами: видимо, с непривычки сильно резал плечи тяжелый ранец. Сосед рекрута, пожилой рябоватый мушкатер, поглядывал на него, а потом взял у молодого солдата с плеча фузею и негромко сказал:

— Ильюха, поправь ранец!

Рекрут сразу ожил, поднял голову и стал подтягивать ремни. Но в это время откуда-то из рядов раздался начальственный окрик:

— Иванов, зачем балуешь рекрута? Какой из Огнева солдат будет, ежели с фузеей не справится?

Рекрут торопливо потянул из рук старого солдата свою фузею.

— Егор Лукич, пушай парень хоть ремни-то поправит, — ответил рябой солдат.

Но Егор Лукич уже не слышал ответа: увидев, что возле его капральства¹ едет какой-то штабной офицер (у Суворова была повязка на рукаве), капрал продолжал показывать старание — распекал еще кого-то:

— А ты чего захромал?

— Пятку стер, дяденька.

— Обуваться не умеешь, мякина! Придем на место, салом натри — пройдет, — по привычке сказал капрал всегдашнюю в таких случаях фразу.

Рябой солдат усмехнулся и довольно громко заметил:

— Умный какой. Да кабы сало у кого было...

— Давно бы съели, — досказал за него сосед.

Поднялись на гору.

Впереди Суворов увидел знакомую картину. Над морем бесконечных повозок, палуб и телег возвышалась вереница верблюдов, — это шесть верблюдов вместе с двадцатью лошадьми везли багаж генерала Фермора: его роскошные палатки, мебель, кухонную и столовую посуду и многочисленных генеральских слуг.

Суворов покачал головой: «Нет, с таким табором не нагрнешь внезапно на врага! Восемь верст в сутки, помилуй Бог! Это не армия на походе, а барыня, едущая на богомолье!»

II

Мы во Пруссии стояли,
Много нужды принимали.

Солдатская песня

Мушкатер Ильюха Огнев, подложив под голову руки, лежал в тени палатки. Высоко вверху, как пушинка по воде, легко плыло белое облачко. Оно плыло в сторону Мельничной горы, к правому флангу, плыло на восток, на родину. Ильюха смотрел на него и с грустью думал все об одном и том же: «Вот облачко поплыло туда. Может, его увидят скоро и у нас, в Ручьях. Посмотрят на него. Мать, сестренка Любка, черноглазая Катюша...»

¹ Капральство — отделение.

Тоскливо сжалось сердце. Захотелось домой, в родную деревню, хотя Ильюхина жизнь и там была несладка — от зари и до зари гнуть спину на барщине.

Огнева только нынешней весной сдали в рекруты. Староста невзлюбил дерзкого, непокорного парня, которого бей не бей — он все свое.

«Вот погоди, в царской службе тебе хорошо перья пообломают!» — злорадствовал староста, когда Ильюху под истошный плач старухи матери и сестренки увозили из деревни.

В службе Ильюху действительно хорошо обломали. Два месяца гоняли с места на место по разным городам. Зуботычинами да палками учили постигать военную премудрость: как «метать артикулы», как заплетать косу да подвязывать порыжелые, никуда не годные кожаные штиблеты — других в цейхгаузе не было.

Наконец, решив, что достаточно обучили военному делу, отправили Огнева с пополнением к армии, которая уже второй год занимала Восточную Пруссию.

Ильюха был назначен в 3-ю дивизию графа Румянцова, в Апшеронский пехотный полк.

Русская армия в Ильин день заняла город Франкфурт-на-Одере и стала биваком на высоких, обрывистых холмах правого берега реки. Тут-то Огнев и нагнал свой полк.

Он попал в капральство Егора Лукича, старого, бывалого солдата, ходившего на турка, бравшего с фельдмаршалом Минихом Перекоп.

Егор Лукич любил покричать, но бил солдата меньше, чем другие капралы.

Ильюха Огнев оказался в капральстве Егора Лукича самым молодым: ему всего-навсего шел девятнадцатый год. Остальные подначальные Егора Лукича поседели на службе: кто тянул лямку уже пятнадцать лет, а кто — и все двадцать.

Старики давно свыклись с тяжелым солдатским положением. Большинство из них обзавелось женами и детьми — семьи жили вместе с ними в солдатских слободах или на обывательских квартирах, — и родные деревни как-то понемногу выветрились из памяти. Привыкшие к походной жизни, выдавшие и Крым и Польшу, старые солдаты и за тысячу верст от родимого края чувствовали себя как дома.

Огневу же все здесь было непривычное и чужое. Непривычны были эти чистые немецкие мызы, эти ветряки, эти медлительные дородные немецкие девушки. То ли дело подвижная, смешливая ручьевская Катюша!

Огнев никак не мог свыкнуться с мыслью, что он на всю жизнь должен остаться солдатом. Пока Лукич учил его, как ставить палатку или как заряжать фузею («Не спеши! Помни: уронишь па-

трон аль два раза осечка будет — палок дадут!» — поучал старик), — Ильюха забывал о доме. Но стоило Огневу остаться наедине, как теперь, вот, и опять вспоминались родные Ручьи.

Ильюха лежал и живо представлял, что делается сейчас дома. Помещичье поле... Согнувшись в три погибели, бабы жнут яровое. Мать, проворная маленькая старуха, жнет ловко и быстро. Рядом с ней — пятнадцатилетняя Любка обливается потом, спешит, хочет не отстать от баб. Вдоль полосы едет верхом барский приказчик. Песья душа. Помахивает нагайкой, шурит коричневые злые глаза на согнутые бабьи спины...

— Черт косой! Портупея-то у тебя как? Потуже подтяни! — раздался где-то рядом начальственный окрик.

От Ильюхиных мыслей не осталось ни следа. Он с досадой приподнялся и сел. Глянул вокруг.

Из соседней палатки торчали чьи-то босые грязные ноги. В тени, под кустиком, пятидесятилетний мушкатер Зуев латал свои штаны. Штаны были когда-то, как полагается мушкатеру, из красного сукна, а теперь от множества заплат красное рдело на них лишь кое-где. Рядом с ним гренадер чинил башмак.

Русская армия сильно обносилась, обозы с амуницией все не приходили из России, а во Франкфурте в складах нашли только кирасы¹.

Дальше полковой цирюльник брил музыканта. Музыкант с зелеными суконными накладками на плечах — «крыльцами» — важно восседал на барабане.

А немного в стороне, на пригорке, денщик ротного чистил барский гардероб.

Ротный, в халате и туфлях, стоял тут же, покуривая и покрикивая на денщика.

Все то же, что Огнев видел в лагере на франкфуртских холмах каждый день уже в продолжение целой недели.

Откуда-то, из 3-й роты, доносилось:

— Скуси патрон, чтобы в зубах осталось немного пороху, всунь в дуло и прибей шомполом. Прибивай одним махом, а не так, как другой: возьмет и толчет, ровно крупу в ступе. Понял?

Это дядька обучал молодых, как заряжать фузею: в полках третья часть солдат была не обучена как следует.

«Все то же!.. Разве заснуть?» — подумал Огнев.

Но в это время его кликнул Егор Лукич:

— Огнев!

— Я тут, дядя Егор! — вскочил Огнев.

¹ Кираса — латы, металлический панцирь на спину и грудь.

— Сбегай, Ильюха, за водой. Глянь — Иванов опять картофелю раздобыл! — сказал Егор Лукич, когда Огнев прибежал к капральской палатке.

Ильюха кинулся за башмаками, но капрал остановил его:

— Да беги босиком! Беги так!

Ильюха схватил котелок и побежал знакомой дорогой к ручью.

Апшеронцам, которые стояли на краю горы Большой Шпиц, против деревни Кунерсдорф, было сподручнее бегать за водой в деревню. Она лежала справа, между Большим Шпицем и Мельничной горой. В Кунерсдорфе были колодцы и три больших пруда. Но кроме апшеронцев и ростовцев, палатки которых расположились еще левее, ближе к оврагу, в деревне брал воду весь правый фланг, весь корпус князя Голицына. Помимо того, у деревни, на выгоне, разместился корпусной артиллерийский полк. Вся деревня была полна фузилерных и фурштатских служителей¹, фурлейтов и денщиков; всюду мелькали красные с черными обшлагами кафтаны артиллеристов. В больших кунерсдорфских прудах целый день купались солдаты, здесь же купали лошадей, стирали белье, мыли палубы и телеги.

К колодцу тоже было не протолкаться.

Ильюха решил бежать налево, на другой конец Большого Шпица, к ручью. Сюда собиралось меньше народа: вода в ручье была ржавая, болотная, берега — топкие.

Но Ильюхе вода нужна была не для щей, а только лишь для того, чтобы сварить эти «чертовы яблоки», как называли солдаты картофель.

Огнев здесь впервые увидел диковинное растение. Картофель понравился ему.

Ильюха готов был один съесть полкотелка, если бы Егор Лукич не покрикивал.

И как тут было не любить картофеля, когда изо дня в день варили пустые щи из лебеды и крапивы да одну и ту же ячменную кашу.

До смерти надоело! Правда, кроме водки и хлеба каждому мушкатуру полагалось еще в день два фунта мяса. Да откуда его возьмешь? Только в обозе, где резали упряжных быков, которые от бескормицы и худых дорог ежедневно падали десятками, ели мясо. Было оно и в офицерских котлах. Но в мушкатуерских — не случилось. Оттого мушкатуеры рады были картофелю.

Хотя у Франкфурта стояло больше сорока тысяч русских и около двадцати тысяч союзников-австрийцев и солдаты хорошо наведывались в поля и огороды форштадта, окрестных деревень и

¹ Фузилер — мушкатуер, фурштатский — обозный.

мыз, но тороватый мушкатер Иванов все-таки ухитрился накопать полный котелок картофеля.

Ильюха бежал, утирая пот рукавом сорочки, — бежал без кафтана, в одном камзоле: все равно было жарко.

Июльское солнце жгло, как и все дни, немилосердно. Только когда оно спускалось туда, за самую высокую из всех трех гор — Еврейскую, где стояли левофланговые 1-я и 2-я дивизии, тогда становилось немного полегче.

Но до заката было еще далеко.

Огнев пробежал расположение соседей — своего брата пехоты, — пробежал мимо батареи секретных шуваловских единорогов. У каждой гаубицы дуло закрыто было медной крышкой. Вокруг батареи, изнывая от жары, стояли часовые, чтобы никто не подходил к единорогам. Шуваловцы давали особую присягу — никому не рассказывать о секретных гаубицах, но вся армия давно знала, что у единорогов дуло не круглое, а такое, как яйцо. За батареей начиналась вся эта неразбериха полковых и офицерских обозов. На холме и в овраге теснились сотни повозок, палуб и телег.

Вокруг одной палубы толпились солдаты разных полков. Ильюха подбежал посмотреть, что там такое.

На палубе, свесив вниз ноги, сидел прусский перебежчик — большой плечистый мужчина лет сорока, со смешными, торчком поставленными маленькими усиками. Молодые солдаты, которые еще ни разу не видали прусских гренадер, лезли вперед, чтобы лучше разглядеть гостя. А старики, покуривая, стояли в сторонке. Разговаривали:

— Не спорь — пруссак лучше нас стреляет...

— Да ты скажи, почему?

— Потому что у тебя в патронной суме сколько пуль?

— Пятнадцать.

— А у него — больше.

— Так и у нас в обозе, в патронных ящиках, лежит по пятнадцати пуль на каждого солдата...

— Ладно. Ты спроси вот у него, у фурлейта, он те скажет, много ль у них на палубах патронов осталось.

— Петров, погоди, — вмешался другой солдат, — я вот что скажу. Эй, парень! — потянул он за рукав Ильюху, который стоял возле спорящих.

Ильюха обернулся.

— Ты в бою бывал? — спросил у него какой-то седоусый гренадер.

— Нет еще, — почему-то смутился Огнев.

— А стрелял когда-либо из фузеи, хоть раз?

— Нет, не стрелял. Дядя Егор только приемы показал...

В толпе захохотали.

— Ну вот видишь! Много ль такой попадет? А ведь, как говорится, выстрели, пули не поймаешь. И таких, как он, у нас чуть не половина.

— Старых солдат, немного осталось, — прибавил другой.

— В новом корпусе, что на правом фланге стоит, рекрутов — целые роты.

Огневу этот спор был неинтересен. Он понемногу протискивался вперед, поближе к палубе.

Возле палубы стоял какой-то аудитор. Он служил переводчиком между пруссаком и русскими солдатами, которые задавали ему вопросы. Перебежчик словоохотливо говорил.

Ильюха во все глаза рассматривал немца.

— Ишь ведь по-каковски лопочет, а не собьется! — сказал кто-то из стоявших впереди Ильюхи.

— Тише! погоди ты! — зашипели на него соседи: все внимательно слушали аудитора, который переводил, что сказал немец.

— У них, говорит, ни минуты свободной нет. Солдат должен весь день что-либо делать. Так стоять без работы, как мы сейчас стоим, у них не позволили б. То фузею смазывай, то ремни бели, то пуговицы начишай. Не справишь чего — бьют палкой. У каждого капрала — палка. Вот он ей и охаживает.

— Наши капралы неплохо и без палки бьют! — вполголоса сказал кто-то.

— А спроси у немца, за какие провинности бьют? — крикнули из толпы.

Аудитор перевел вопрос. Пруссак улыбнулся и что-то быстро ответил.

— Он говорит, что у них — всякая вина виновата. И старший — всегда прав. Слова против него не скажи, — насмерть убьет и отвечать не будет!

— Вот и служи!

— Хороша жизнь, нечего сказать!

— У нас бьют, так куда денешься: служба! А они ведь все наемные. За деньги служат! — говорили в толпе.

Ильюхе Огневу страсть хотелось больше бы послушать, да нужно было бежать за водой: Егор Лукич за пожданье тоже не помилует.

И Огнев стал выбираться из толпы.

III

Суворов в первый раз присутствовал на военном совете.

На дворе было ослепительное солнце, а в столовой палатке главнокомандующего, обитой голубой парчой, горели свечи. Вокруг большого обеденного стола, на котором лежала карта Франкфурта

и его окрестностей, сидели все старшие начальники русской армии: сам главнокомандующий, маленький, весь седой старичок граф Петр Семенович Салтыков, его заместитель и начальник 1-й дивизии генерал Фермор и командиры остальных дивизий — генерал-поручик Вильбуа, Голицын и Румянцов.

Суворов с бумагами и карандашом пристроился на противоположном, свободном от карт конце стола. У его ног, под столом, лежали, высунув от жары языки, две борзые: Салтыков очень любил псовую охоту и, уезжая к армии, взял с собою свою любимую свору собак.

На совете говорили все о том же, о чем за два года войны с колом прусским Фридрихом II надоело даже говорить.

С начала вступления России в войну, с 1757 года, русская армия делала все, чтобы соединиться со своими союзниками — австрийцами. Заняв Восточную Пруссию, русские шли вперед, австрийцы же боялись отойти от границ Богемии, несмотря на то что их армия была втрое больше русской.

Когда десять дней назад, 20 июля 1759 года, Салтыков, взяв Франкфурт, очутился всего в семидесяти верстах от Берлина, австрийский фельдмаршал Даун не сдвинулся с места. Только двадцатитысячный отряд генерала Лаудона присоединился 21 июля к русским у Франкфурта и стал впереди левого крыла русской армии, на Красной мызе.

Сегодня, 30 июля, Салтыков получил от Дауна извещение, что главные австрийские силы могут перейти в наступление лишь соединившись с русскими. Даун требовал, чтобы Салтыков отступил назад, к Кроссену.

— Кроссен-де условлен для соединения. А занявши Кроссен, нашли мы в нем хоть одного австрийца? Выиграли такую наихудшую баталию под Пальцигом, взяли Франкфурт, ин — нате, извольте отступать! Это черт те знает что! — горячился Салтыков.

Генералы молчали. Все думали то же, что и главнокомандующий.

Румяный, пухлощекий Вильбуа, надменный в обращении с подчиненными, но подобострастный с высшими, угодливо кивал головой.

Умный Румянцов, опершись подбородком об эфес сабли, задумчиво смотрел на разостланную перед ним карту.

Начальник Обсервационного корпуса, добродушный князь Голицын, барабанил по столу пальцами. Он нервничал. В его распоряжении было много артиллерии — шуваловских секретных гаубиц. В бесконечных же переходах по тяжелым песчаным дорогам, при всегдашней нехватке фуража, ежедневно падали десятки лошадей и упряжных волов, а пушечные лафеты, расшатанные в бою при Пальциге и наскоро починенные в Кроссене, не выдержали перехода даже до Франкфурта.

Красивое, слегка бледное лицо Фермора кривилось снисходительной улыбкой.

Всего лишь месяц тому назад он сдал командование армией графу Салтыкову, согласившись при этом остаться его заместителем. Как ни писал Фермор императрице Елизавете Петровне, что эту замену «не токмо себе за обиду не почитаю, но, припадая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу», а все-таки в душе был глубоко оскорблен.

И как было не обижаться! Его, генерала Фермора, которого хвалил сам фельдмаршал Миних, генерала, поседевшего в боях, заменили — и кем же? Ни разу не командовавшим войсками в бою Салтыковым, все достоинство которого заключалось лишь в том, что он был родственником императрицы.

Когда Салтыков, проезжая через Кенигсберг, ходил по улицам в своем белом кафтане без единого ордена, на Салтыкова обращали не больше внимания, чем на какого-либо полкового аудитора. Салтыков был прост во всем: в своей жизни, в обращении с людьми. Фермор же держал себя очень важно и любил пышность. Одевался Фермор всегда щегольски — в голубой кафтан с красными отворотами. Было душно, но Фермор сидел в парике, напудренный, аккуратный. И даже по кафтану у него сегодня шла через плечо голубая орденская лента.

Салтыков, разморенный духотой, небрежно расстегнул свой когда-то белый, но изрядно потемневший от ежедневной носки старый ландмилицкий¹ кафтан, который нашивал, еще командуя ландмилицией на Украине. Парика Салтыков сегодня вовсе не надел и время от времени вытирал платком голову, пухлое лицо и старчески сморщенную шею.

Фермор смотрел на главнокомандующего и ликовал: пусть-ка этот барин узнает, легко ли командовать армией, когда руки связаны, с одной стороны, петербургской Конференцией², а с другой — австрийским гофкригсратом³.

— Что ж будем делать? — прервал молчание Салтыков. — Ну-с, господин подполковник, каково ваше мнение? — обратился он к младшему среди присутствующих.

— Идти навстречу врагу! — твердо сказал Суворов.

Все оглянулись на него; то, что сказал подполковник, противоречило общепринятым правилам тогдашней стратегии, казалось абсурдом.

¹ Ландмилиция — местное земское войско, организованное Петром I.

² Конференция — придворный военный совет, руководивший из Петербурга военными действиями русской армии за границей.

³ Гофкригсрат — австрийский придворный военный совет.

Вильбуа смотрел на тщедушного подполковника с явным пренебрежением: какую чепуху несет человек!

Скромный князь Голицын, слабо разбиравшийся в военном деле, смотрел то на одного, то на другого из генералов. Он не был и не считал себя сам военным человеком. Он только подчинился монаршей воле: императрица назначила его командиром Обсервационного корпуса, и Голицын послушно командовал.

Румянцов с интересом взглянул на малознакомого подполковника.

Фермор снисходительно улыбался: он уже немного знал быстрый нрав своего дивизионного дежурного штаб-офицера, был знаком с его странными стратегическими взглядами.

Салтыков же только тер голову и ухмылялся: ну и предложил!

— Господа генералы, ваше мнение? — глянул он на трех генерал-поручиков.

Первым отозвался Румянцов:

— Оставаться на месте и ждать короля.

— И я так думаю, — поддержал его князь Голицын. — Ведь позиция у нас почти неприступная.

Фермор скривил свое красивое лицо:

— Позиция имеет большой недостаток — фронт прорезывается оврагами, никакого сикурсу¹ дать друг другу будет невозможно.

Ему было смешно, что Голицын — начальник дивизии, а не понимает такой простой вещи.

— Вы не правы, Вилим Вилимович, — оживился Салтыков.

В глубине души он понимал, что Фермор прав, но недолюбливал его и хотел уколоть.

Салтыков, наклонившись над картой, ткнул в нее пухлым перстом:

— С левого крыла нас обойти, сами видите, нельзя — река Одра. А с правого — пусть обходит! Тут — речка, пруды, болота. Король любит драться на ровной местности, чтобы ему можно было поставить свои линии, а у нас здесь — горы да овраги.

Фермор молчал.

— Может быть, ваше сиятельство, еще укрепить фронт ретраншаментом?² — поспешил предложить угодливый Вильбуа.

Салтыков недовольно поморщился, махнул рукой:

— Э, сейчас незачем. Зря только солдат мучить. Подождем до утра: утро вечера мудренее! А что же все-таки предлагаете вы? — спросил он у Вильбуа.

¹Сикурс — помощь.

²Ретраншамент — окоп.

— Подчиняться приказу Конференции и отступить к Кроссену, — ответил Вильбуа, поглядывая на Фермора, — поддержит он или нет.

— Самое правильное решение! — поддержал Фермор.

Салтыков вытер лицо платком, секунду помолчал, как бы собираясь с духом, а потом отрубил:

— Трогаться с места нельзя: тронешься, перемешаешь все полки — потом и за сутки в боевой порядок их не поставишь! Нет, уж будем стоять здесь и ждать короля!

— Простите; ваше сиятельство, а как же с обозом? Ведь у нас двадцать тысяч повозок. С таким цыганским табором принимать бой на холмах? — горячо выпалил Суворов.

Его раздражала нерешительность Салтыкова. Петр I, у которого учился подполковник Суворов, говаривал: «Во всех действиях упреждать», а этот толстый барин вовсе не думает идти навстречу врагу, а собирается только обороняться.

— Подполковник Суворов прав, — первым отозвался генерал Фермор.

Фермор был доволен, что его дивизионный дежурный штаб-офицер так основательно поддел главнокомандующего. Но ему не понравилось одно: зачем Суворов обозвал весь обоз, и в том числе, стало быть, и его верблюдов, «цыганским табором»?

— Будем мы отступать или нет, а обоз надобно сегодня же отправить за Одер, — сказал Фермор.

— Совершенно верно. Немедленно отправить за реку! — спохватился Румянцов.

— Да, да, да, отправить! — поддакнул Вильбуа.

— Ну что ж, — спокойно, не торопясь, ответил Салтыков, — отсылать так отсылать. Завтра же и отошлем, — легонько ударил он по столу рукой.

Выходило так, что он и соглашался с Фермором, но в то же время поступал по-своему: отошлю, но не сегодня!

— А теперь, господин подполковник, — кивнул он Суворову, — давайте-ка объедем весь лагерь, посмотрим, как и что у нас! — поднялся главнокомандующий.

IV

Казачья лошаденка Суворова не отставала от статного арабского жеребца графа Салтыкова.

Они объехали весь фронт русских войск от левого крыла на Еврейской горе, самом высоком и широком из франкфуртских холмов, до правого — на узкой площадке Мельничной горы, где под

мирными ветряками расположились десятки шуваловских единорогов Обсервационного корпуса.

Жеребец графа продирался сквозь кусты, спускался с обрывов вниз, в долину, подымался на кручи. Главнокомандующий хотел лично проверить, насколько болотисты берега речки Гюнер, сможет ли пехота «скоропостижного короля» — так звали Фридриха II при русском дворе — пройти здесь или нет. Осматривал, как круты спуски оврагов Лаудонгрунда и Кунгрунда, на что давеча так напирал осторожный Фермор.

Возвращались назад.

Крепкий жеребец графа легко вымахнул из Кунгрунда наверх, на Большой Шпиц, который лежал между Еврейской и Мельничной горами.

Салтыков остановился, снял треуголку и, вытирая платком мокрый лоб, сказал штаб-офицеру, поспевавшему за ним:

— Напрасно Фермор пугал: тут не то что мушктеры, а и полукартаульные единороги пройдут. И через овраги можно получить довольный сикурс. Ну и погода! — переменял он разговор. — Вот благодать какая!

— Жарко, ваше сиятельство, помилуй Бог, жарко! — согласился худошавый подполковник: плечи его кафтана были мокры.

— Бабье лето. Скоро и в отъездное поле. Эх, хорошо! — мечтательно сказал Салтыков, глядя вниз на болотистую равнину, по которой текла речка Гюнер.

За Гюнером, по лугу, в ярких черно-красных доломанах скакали гусары.

— Ваше сиятельство, обратите внимание на гусар: нельзя разобрать — свои или немцы, — сказал Суворов. — Надо, чтобы гусары в отводных караулах носили на руке белую повязку.

— Да-да. Это верно. Отдай, голубчик, завтра приказ при пароле, — ответил Салтыков, трогая жеребца.

Они ехали сзади расположения апшеронцев. В стороне молодой мушктер рубил тесаком рогаточные кольца.

— Ах, стервец, посмотри, что он делает! — указал на мушкатера Салтыков. — Этак они все рогатки изведут! Поезжай, взгрей его!

Суворов дал шпоры коню и подскакал к мушктеру.

Увидев подъехавшего офицера, мушктер вытянулся, испуганно заморгал глазами. Суворов оглянулся — главнокомандующий скрылся за кустами.

— Что, кашу варить собираешься? — спросил Суворов.

— Никак нет, тартофель, — смущенно ответил мушктер.

— Чего ж оробел? Руби смело! Тут не в степи с туркой воевать! А коли и налетит конница, у тебя штык есть. Он, брат, лучше всякой рогатки — и крепче и вернее! — сказал подполковник Суворов и поскакал догонять главнокомандующего.

...Ильюха Огнев никому не рассказал об этом странном происшествии. Мушктеры потихоньку рубили рогаточные колья, но все ротное начальство, начиная с Егора Лукича, строго взysкивало за это, а тут на штабного офицера нарвался — и то ничего.

V

— Твой барин что, аль такой бедный? — спросил у суворовского Степки франтоватый бригадирский денщик, входя за ним в подполковничью палатку.

Денщик бригадира Бранта забежал вечером покалякать с соседом и посмотреть, как живет новый штаб-офицер: подполковник Суворов прибыл в армию недавно, две недели тому назад.

— Не. А что? — удивился Степка. — Отчего ты так думаешь?

— Да как же не думать? Ты у него только один! Больше-то никого нет — ни повара, ни вестовых!

— Зачем? Я ж барину обед стряпаю. Казак еще есть, — ответил Степка, зажигая свечу.

— Казак? Это ж не барский человек. То ли дело у моего: денщиков — двое, вестовых — двое, опять же повар да цирюльник... Вот! — хвастался бригадирский денщик.

Он в один миг окинул взглядом скудную подполковничью палатку.

Никакой кровати не было. На земле лежала охапка сена, прикрытая простыней. В изголовье — подушка. Ни ковра, ничего. Стол, свеча в деревянном подсвечнике. На столе одни книги.

— Твой барин ведь майор?

— Ну, вот еще, — обиделся Степка. — Александра Васильич — подполковник, а не майор!

— Тогда и того плоше! — не унимался денщик. — Подполковник, говоришь, а погляди, на чем спит! — Бригадирский денщик указал на постель подполковника. — Да у нас у сержанта, у пьянчужки Сашки Коробова, и то лучше! Ни пуховика, ни перины! Какой же это барин, штаб-офицер? Да кто его отец?

— Наш старый барин, Василий Иванович Суворов — слышал, может? — главный в армии по хлебной части. Вот кто! — обиженным тоном сказал Степка, встряхивая простыню и взрыхля слезавшееся сено. — Да у нас, кабы мы только пожелали, пуховиков этих — тьфу!.. Отседа до самого Франкфурту ими устлали б! У нас, брат, деревни в Московской, Володимирской губерниях. Да еще дом в Москве у Никитских ворот. Наш батюшка-барин — генерал-майор, а он...

— Почему ж тогда молодой барин так спит? В карты продулся, что ли?

— Какое там! — отмахнулся Степка. — Вовсе не любит этого занятия.

— Так почему ж?

— А вот поди у него и спроси, почему? Он и дома у нас никак иначе не спал, как на полу и на сене.

— То-то мне фермерский Яшка шептал: к нам, говорит, прислали нового штаб-офицера. Маленький, худенький, говорит. Одна кожа да кости. Бедный, должно быть, аль пьяница. Халата, говорит, и того не имеет. У всех штаб-офицеров по две повозки с добром. Любомирский даже в три не вмещается, а этот, Суворов, ровно прапорщик последний: на одной повозке везти нечего. Чудно́.

— Ну и врет твой Яшка! — обозлился суворовский денщик. — Александра Васильич пьет вовсе мало. Одно верно: вещей возить не любит.

— Человек он молодой, а ни тебе зеркала, ни чего другого. Только книги, — не переставал подзуживать бригадирский денщик.

— Погоди, кажись, кто-то подъехал, — перебил его Степка и выбежал вон. За ним из палатки шмыгнул и его гость.

В ночных сумерках бригадирский денщик увидел небольшого человека, который быстро шел к палатке. Камзол его был расстегнут, шляпу он держал в руке.

— Степка, воды! — крикнул он на ходу.

Бригадирский денщик шмыгнул за палатку — хотелось послушать, что ж будет дальше.

В подполковничьей палатке упал, глухо звякнув шпорой, один сапог, потом другой. Еще мгновение — и тот же быстрый голос уже не в палатке, а где-то тут, в двух шагах, сказал:

— Лей! Только не на плечи, а на голову!

Послышался плеск воды.

— Хор-рошо, помилуй Бог, как хорошо!

— У меня еще одно припасено, — сказал Степка.

— Молодчина! Валяй!

Снова шум воды, довольное побрякивание, топот босых ног.

— Есть не буду — ужинал у графа. Ступай, спи!

Бригадирский денщик, улыбаясь в подстриженные на гренадерский манер усы, пошел прочь.

«Ну и барин! — думал он. — Помыться в такую жару хорошо, слов нет, но помыться, как пристало штаб-офицеру — в тазу, с мылом, с душистой водой. А он — из ведра. Ровно мужик, слезший с полка. И теперь завалится на сено. Чудак!»

И бригадирский денщик даже махнул рукой.

VI

После холодной воды приятно пощипывало тело. Веки закрывались сами. Устал за день. Хотелось спать. В голове — все то, что назойливо лезло целый день: «Мне бы сорокатысячную армию и кроатов Лаудона! Плевал бы я на всех Даунов! Сегодня же — на Берлин! Хоть там впереди король, хоть черт, хоть дьявол!.. Царь Петр ведь говаривал: «Во всех действиях упреждать». Конечно же — упреждать, а не стоять так в нерешительности, как Салтыков!»

Суворов улыбнулся. «Ретирада» — подлое слово! И еще — обоз.

Перед глазами одна за другой замелькали тысячи повозок, палуб, телег...

— Александр Васильич, — тихо позвал Степка: ему было жалко будить барина в эту рань.

Суворов всегда спал очень чутко. Проснулся, отбросил простыню:

— Ась?

— Казак с донесением. От Туроверова.

Суворов вскочил и как лежал голый, так и выбежал из палатки.

Лагерь спал. Откуда-то снизу, из Кунерсдорфа, доносился одинокий крик каким-то чудом уцелевшего петуха. Долина за Большим Шпицем, озёра — все в белом тумане.

У палатки — бородатый казак.

— Какие новости, дядя? — спросил Суворов.

— Пруссак переправился через Одру, ваше благородие.

— Где?

— У Горитца.

— Все? И артиллерия?

— Конница перешла вброд, а пехота и пушки — по мостам понтонным.

— Так-так. Спасибо. Обожди, борода!

Суворов юркнул в палатку.

Степка хотел помочь барину одеться, но, как всегда спросонок, был дурак дураком: тыкался во все и только мешал. Барин за сапог — и Степка тогда за сапог. Степка хочет подать кафтан — глядь, а он уж в руках у барина.

Суворов вскочил, напяливая на ходу кафтан. Побежал.

У палатки главнокомандующего стояло двое часовых. Один сладко спал, опершись о фузею, другой крепился.

— Кто идет? — заорал он больше для того, чтобы разбудить спящего товарища. Затем, как будто сейчас опознав подполковника, отвел фузею в сторону.

В передней части большой палатки спал денщик. Суворов тронул его за плечо, но в это время ковер, заменявший дверь, откинулся, и Суворов увидел главнокомандующего. В стареньком шлаф-

роке Салтыков казался еще меньше, чем был на самом деле. Граф почесывался и зевал.

— Что случилось? — спросил он.

— Казак с донесением от Туроверова, ваше сиятельство.

— Снова перебежчик, или захватили пленных?

— Нет. Король переправился через Одер у Горитца со всей армией.

— Так и знал, — махнул рукой Салтыков. — А они давеча: отступать к Кроссену. Дураки!.. Мишка! — крикнул он денщику. — Буди адъютантов!

Салтыков вышел из палатки.

— Вон какой туман. День жаркий будет, — сказал он, но видно было, что думает о другом. — Вот что, батюшка! — Салтыков взял Суворова за пуговицу. — Весь обоз немедля — за Одру, к Шетнау. Поставить вагенбург¹. Команду... — он на секунду задумался, — бригадира Бранта. Господину Лаудону со всем отрядом подняться на высоту. Тотчас же бить зорю. Весь фронт повернуть кругом, вот сюда, на юг, — указал пальцем Салтыков. — Всем полкам строить батареи, ретраншамент. Отсюда до Мельничной горы. Вторую дивизию Вильбуа поставить в центр, к Румянцову. Его величество хочет взять нас с тылу? Ин тому не бывать!

VII

Повернись, моя дивизия,
Со левого крыла,
Что со левого со фланга
На правое крыло.
Не пора ль нам зачинать,
Свое дело окончать.

Солдатская песня

Ильюха Огнев проснулся, — били барабаны.

Он вскочил вместе со всеми. Хотелось спать, слипались глаза, еще плохо слушались пальцы. А тут приходилось возиться с пуговицами да подвязками. Надо было смотреть, чтоб, как учил Егор Лукич, задний шов штиблета проходил точно посредине ноги, чтобы пуговицы на боку были все застегнуты, а сам штиблет не вылезал выше колена больше чем на три пальца.

Ильюха одевался и все никак не мог разобраться, как барабанят: или в поход, или встать. Словно бы и вчера таким же манером

¹ Вагенбург — обоз, построенный прямоугольником.

били, только сегодня почему-то немножко пораньше, — за Мельничной горой, на востоке, еще чуть начинало розоветь.

Спросить у Егора Лукича постыдился — отчитает: мушкатер, а сигналов не помнишь!

Шепнул тихо соседу Иванову:

— Дяденька, почему сегодня так рано?

— Стало быть, надо! — хмуро буркнул тот. — Пруссак, должно, близко.

— Мы в поход пойдем?

— Дурья голова, да разве не слышишь, что бьют? Зорю, а не генеральный марш. Значит, только подыматься, а что дальше будет, увидим!

Скоро всем стало ясно: велено было свернуть палатки и сдать все лишнее в полковой обоз. И полковые и офицерские обозы отправлялись за Одер. Уже с Еврейской горы, вниз, к Франкфурту, без конца тархтели провиантские, канцелярские и палаточные палубы. Вся гора стояла в облаке пыли.

Солдаты складывались, живо обсуждая события:

— Это, брат, неспроста! Коли уж из обозов вагенбург делают, значит, пруссак недалеко!

— Не забудь, парень, чистую рубаху оставить, — сказал Егор Лукич Огневу.

— А я только собирался стирать. Экая досада, — чесал затылок Иванов.

— Помрешь и в немьтой, — ответили сбоку.

— Глянь-кось, дяденька, — сказал молодой мушкатер из соседнего капральства, — сколько войска валит!

— К нам на подмогу, — ответил ефрейтор.

— Под наше крылышко.

— Так-то веселей.

С Еврейской горы через овраг Лаудонгрунд шла во взводных колоннах на Большой Шпиц 2-я дивизия Вильбуа.

— Не задерживай, получай шанцевый инструмент! — крикнул, проезжая верхом, какой-то молодой офицер из обоза.

Видно, доставалось сегодня всем, — галстук у офицера съехал набок, лицо было озабоченное, потное. Солдаты мигом разобрали топоры, лопаты, кирки.

— Становись в строй! — пронеслось по горе.

Гремя фузеями и шпагами, спешили на свои места, откашливались, пока можно, сморкались.

— Смирно! Сомкнись! Задние, приступи! Кругом!

Повернулись кругом, лицом на юг.

— Право — стой, лево — заходи!

Заняв свои места, стояли «вольно». Солдатам разрешили съесть по сухарю. Более запасливые, у кого в водоносной фляге

еще с вечера была припасена вода, пили эту теплую, невкусную воду.

Внизу, по кунередорфской дороге, одна за другой тарахтели подводы. Обоз Обсервационного корпуса тоже спешил убраться за Одер.

— С той стороны у нас позиция куда крепче была — болото, гнилой ручей, — хмуро заметил Иванов.

— Пруссак хитер — обходит нас с тылу, — прибавил кто-то.

— А мы его и тут нехудо встретим, — ответил Егор Лукич. — Вот сейчас окопов нароем, насыпем батарею, и — добро пожаловать, гости дорогие!

VIII

31 июля русская армия целые сутки укреплялась на франкфуртских холмах.

На южных склонах Еврейской горы и Большого Шпица и вокруг всей Мельничной горы рыли окопы, насыпали батареи. Мушктеры, гренадеры, артиллеристы работали босиком, в одних штанах, сбросив не только кафтаны, но и камзолы. Вместо душных кожаных, с медными украшениями гренадерок одни по-бабьи повязали голову платком, другие, более сметливые, заранее взяли из обоза старые шляпы, а кто работал просто так, с непокрытой головой: грейся на солнышке, солдатская голова, может, в последний раз тебе на солнышке греться!

Красные и зеленые кафтаны и камзолы кучками лежали наверху, на горе, где среди фузей, поставленных в козлы, изнывали на солнцепеке часовые у полковых знамен, у казны, у пушек.

А те солдаты, которым уже минуло за пятьдесят, сидели на опушке франкфуртского леса, плели туры для песка и вспоминали далекое детство, как когда-то сиживали вот так же на пастьбе с огрызком косы и лыком.

Батареи насыпали на всех возвышенностях, но главные, многопушечные батареи были на правом крыле, на Еврейской горе, и в центре, на Большом Шпице. Тут батареи насыпались по всем правилам. Апшеронский полк работал над большой батареей Шпицберга. Бригада Любомирского — пехотные полки Ростовский, Апшеронский и Псковский — занимала ретраншаменты слева от большой батареи Шпицберга, прикрывая ее.

Постройку большой батареи вел сам генерал Фермор. Следить за работами и указывать он оставил какого-то невзрачного, худощавого штаб-офицера.

Ильюха Огнев сразу узнал его, — это был тот самый подполковник, который вчера видел, как Ильюха рубил рогаточные колья. Солдаты в первую же минуту окрестили подполковника «бы-

стрым»: он делал все чрезвычайно быстро — ходил, говорил, указывал, где и как надо рыть.

Солдатам он полюбился.

Командир полка, как глыба, стоял где-то там, наверху, ленись спуститься пониже, хорошо не видел, как и что делается, и только знал кричать да по-всегдашнему сулить палки и «сквозь строй», а сам норовил поскорее убраться в тенек. Этот же штаб-офицер, в расстегнутом камзоле, без галстука, с локтями, измазанными в глине, был тут, во рву. Говорил он с солдатами ласково, шутками, вместе с ними жарился на солнышке и вместе с ними пил из одного ведерка невкусную, пахнущую болотом, ржавую воду.

Ильюха Огнев работал в охотку. Работа была, не та непривычная, постылая — «подвысь» да «скуси патрон», — а настоящая, деревенская, досконально Ильюхе знакомая — с лопатой.

Солнце приблизилось к полудню, когда апшеронцы вместе с псковичами, ростовцами и артиллеристами заканчивали половину главной батареи. Худощавый штаб-офицер сказал:

— Доведете до куртины, будем полдничать.

И сам поехал на Еврейскую гору, должно быть, к Фермору.

Поднажали, довели до куртины. Ротные, смотревшие за работой, увидев, что урок выполнен, подались понемногу наверх, к кустикам. А солдаты, выравнивая и подчищая скаты, перекидывались словами:

— Вот толокá у нас сегодня!

— На такую толоку много водки надо хозяину припасать!

— Больше чарки все равно не дадут, а то сдуреете, как при Цорндорфе.

— Душно, хоть бы дождик пошел.

— Не будет дождя — петухи вчера не пели...

— Кому ж и петь, коли шуваловские секретно всех петухов порезали, — съязвил мушкатер.

— Да и вы, пехота-матушка, не поддадитесь! Тоже хороши куроеды! — не оставались в долгу артиллеристы.

— Сегодня один пел, ей-ей, пел, сам слышал — на часах стоял.

— А у вас рунд¹ ходил? Может, ты во сне это слышал?

— Ребята, потише — едут!

Говор стих. Лопаты заработали усерднее. Офицеры, как воробы с куста, посыпались вниз к солдатам.

К главной батарее приближалась группа всадников. Впереди ехал седенький главнокомандующий. Глаза у него были красные, невыспавшиеся, — старый человек, а долгий летний день на ногах.

Подъехали, остановились.

¹ Рунд — пещерка часовых.

— Что ж, Вилим Вилимович, неплохо? — спросил Салтыков у Фермора, ехавшего рядом. — Половина штерншанца¹ готова.

— Да, в таких поспешных условиях, конечно, — уклончиво ответил осторожный Фермор.

— Ну вот, Александр Васильевич, пусть работают так и дальше, — обернулся Салтыков к худощавому подполковнику и поехал со свитой прочь.

Суворов остался у штерншанца.

— Ребята, давайте полдничать, — сказал он, спрыгивая с лошади.

IX

Счастье имеет для предводителей часто гораздо печальнейшие последствия, чем неудачи: первое делает их самонадеянными, последние учат их осторожности и скромности.

Фридрих II

Король Фридрих стоял наклонившись над картой. Косичка с концом, загнутым, точно крючок, смешно взметнулась вверх.

Голубая змея широкого Одера. Красные прямоугольники, словно кирпичи: Франкфурт. Штриховка холмов, как срез молодой сосны: Юденберг, Шпицберг, Мюльберг.

Решено: косвенный порядок такой, как при Лейтене. Правым крылом атаковать левое крыло этих варваров русских. Генерал Финк ударит с тыла. И они все полетят в Одер, в реку, к черту!

До последних слов думал, по старой привычке, на французском языке. Недаром язвительный Вольтер когда-то заметил, что при дворе короля Фридриха «немецкий язык сохранен только для солдат и лошадей». Но для последней фразы понадобились гневные выражения, и губы сами сказали по-немецки:

— Zum Teufel!²

Он даже швырнул на карту карандаш, который держал в руке. Зашагал по палатке. Вот додумал — сразу зевнулось, захотелось спать. Но спать уже некогда.

«Ничего. Завтра, разбив Салтыкова, выплюсь!» — подумал он и улыбнулся.

Где-то в лагере взвизгнули, сшибаясь, жеребцы. Фридрих недовольно высунулся из палатки. Что там такое?

¹ Штерншанц — звездообразный окоп.

² К черту!

Ничего. Все как полагается. У потухших костров спят солдаты — кто сидя, кто лежа, не выпуская из рук фузей и сабель.

В предрасветной мгле маячат силуэты всадников: по лагерю ездят гусары. Смотрят, не крадется ли какой-нибудь солдат, собираясь удирать.

Правда, все давно предусмотрено королем: прусский лагерь никогда не располагается близ леса. Но эти солдаты! Прохвосты! Воры! Их нельзя посылать одних даже за соломой или за водой: разбегутся. Что ни шаг, нужен конвой. Сброд со всего света — итальянцы, швейцарцы, силезцы... Кого только не набрали, подпоив, посулив хорошую жизнь или просто избив до полусмерти, прусские вербовщики! Кого только не одурачили, не упустили воевать за Пруссию! Где ж тут наступать с ними ночью, да еще лесом!

Король Фридрих шагнул к карте. Облокотился. Ну да. Вот. У него прекрасная память. Он превосходно знает свою землю: вот он, франкфуртский лес! Конечно, этих прохвостов ночью в лесу не собрать. Они держатся только палкой да фухтелем¹. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем неприятеля. Эта его фраза всем известна.

Фридрих улыбнулся и зашагал. Однако тонко придумано. В самом деле: палки своего капрала они боятся больше, нежели врага! Враг — где он там еще, а капральская палка — вот она, вот тут! И что такое солдат? Зверь. Ничтожная часть механизма!

Внезапно он вспомнил. Похолодел. Шагнул к двери:

— Рудольф!

Перед ним вытягивается голубоглазый адъютант.

— Офицеры знают местность? Хорошо изучили?

— Изучили, ваше величество!

— Засады всюду расставлены?

— С вечера, ваше величество!

Фридрих поворачивается и шагает в противоположный угол палатки широким прусским шагом. Адъютант исчезает.

Офицер должен отлично знать местность — не для боя. Король сам ведет, король знает все. Им много знать не полагается. От офицера до последнего рядового никто не должен рассуждать. Но лишь исполнять, что приказано!

Они должны знать только то, что лежит под самым носом: где — овраг, где — рожь, чтобы, когда пойдут, не растерять, не оставить во ржи, в овраге ни одного солдата! И для того каждый раз, когда нужно проходить через овраг или рожь, в овраге, во ржи заранее делаются засады: ловить беглецов. Идут через лес — вдоль дороги скачут верные гусары. Они чистокровные немцы. На них

¹ Фухтель — плоская сторона сабли.

можно положиться. Тем более что за немца-гусара, если он сам убежит от фухтелей, от позитуры¹, отвечает головой его отец!

Засады не для русских. Не для передовых частей, этих нечесанных, лохматых казаков и полуголых калмыков, вооруженных — смешно сказать — луками и стрелами. Они способны только пугать ребят. Что стоят они по сравнению с его гусарами Зейдлица, лейб-кирасирами Бидербее!

Сегодня в бою они — кирасиры, драгуны, гусары — будут решать дело.

Салтыков, этот русский барин, которому как-то посчастливилось разбить под Пальцигом старика Веделя, — что он думает? Думает, что спасется на франкфуртских холмах? Гусары выгонят их с холмов, как гончим зайцев!

Он смотрит из палатки. Кажется, посветлело. Пора.

— Рудольф!

В дверях — голубоглазый адъютант.

— Поднять лагерь. Без барабанов!

Король Фридрих отходит внутрь палатки. Он слышит глухой стук: это, без барабанов, офицеры бьют палками сержантов, сержанты — капралов, капралы — солдат.

Пока можно не думать ни о солдатах, ни о лошадях. Можно думать об искусстве, о философии, о музыке. Думать по-французски...

Х

Главные силы короля Фридриха обходили левый фланг русских. Впереди, в утреннем тумане, колыхались разноцветные значки эскадронов Зейдлица. За ними, вытянувшись в две линии, точно на параде в Потсдаме, шагали батальоны гренадер.

Маршировать было трудно: гренадеры шли своим обычным маршем — семьдесят пять шагов в минуту — по еще не сжатым полям ярового. Высокие стебли звонко хлестали по штиблетам, путались в ногах, задерживая шаг. Но капральские, сержантские, офицерские трости были каждую секунду наготове, и старые гренадерские ноги, маршировавшие уже не первый десяток лет, вышагивали привычно.

Озеро Бишофзее осталось справа.

Входили на опушку молодого леса. Запахло прошлогодними листьями, лесной сыростью. Несколько шагов — и первая линия пехоты уперлась в крупы лошадей: конница Зейдлица почему-то не подвигалась вперед.

¹ Позитура — положение тела, выправка.

И тотчас же войска расступились — со своим штабом проскакал вперед сам король. Черная треуголка у Фрица — как звали короля солдаты — была надвинута на левую бровь. Длинный нос стал оттого еще длиннее. Со стороны король казался одноглазым.

Но правый глаз смотрел зло, губы плотно сжаты: Фриц недоволен. Не миновать кому-то виселицы или, в лучшем случае, фухтелей!

— Ну что там? — гневно спросил король.

— Пруды, ваше величество, — ответил ехавший навстречу королю Зейдлиц.

— Какого черта пруды? Их здесь не должно быть!

Король дал шпоры коню.

Среди бурелома и кустов лозы в легкой дымке поднимающегося тумана подковой изогнулся обширный пруд. Слева, рядом с ним, другой, а дальше, в просветах кустов, блестели третий и четвертый.

Король не верил глазам.

— Карту!

Адъютант передал с поклоном трубочку карты. Король развернул ее.

На карте на этом месте, кроме леса, ничего не показано. Взбешенный король рванул карту — она с легким треском разорвалась пополам.

— Обходить! Налево! Живей! — помрачнев, приказал король.

...Уже пять часов измученные люди и лошади обходили пруды. Обходили один, ждали, что он последний. Глядь, за ним светлеет другой...

Между небольшими прудами пробовали перебираться, но лишь завязили лошадей.

Солнце подымалось все выше. С каждой минутой становилось жарче, невыносимее. Накаливались бляхи остроконечных гренадерских шапок. Хотелось пить.

Люди шли обок воды, но нельзя было сломать строй. Отдохнуть, сделать привал — невозможно: никто не знал, скоро ли кончатся эти пруды. Может быть, вон тот — последний.

Король был невероятно зол: он терял время, он уже опаздывал — он приходил к Малому Шпицу позже, чем было условлено.

Финк на Третине в положенное время пробил зорю — обманывал русских, чтобы они думали, будто вся армия короля прусского стоит еще у Третина. Затем Финк, исполняя намеченный королем план, открыл артиллерийский огонь по Мюльбергу. Финк должен был делать вид, что пруссаки хотят атаковать Мюльберг от Третина.

Русские батареи отвечали без промедления. Канонада была в полном разгаре. В лесу от гула орудий стоял гром.

Изнывавшие от жары и жажды, голодные солдаты шли вперед. Наконец пруды кончились.

— Лес, лес! — пронеслось по рядам. Войска вытянулись в линию.

Но здесь, в лесу, всех задержала артиллерия: без дороги с пушками трудно было поворачиваться, приходилось то и дело выпрыгивать лошадей.

Солнце уже стояло почти на полдне, когда войска Фридриха II вышли наконец из лесу на простор кунерсдорфских полей.

XI

Работы в русском лагере закончились поздно ночью.

От плоских, торчком стоявших памятников-плит еврейского кладбища на Юденберге и до мельниц Мюльберга протянулась двойная линия окопов.

Как и в первоначальном положении фронта на север, ключом русской позиции оставалась высокая Еврейская гора. Еврейскую гору и соседний Большой Шпиц Салтыков укреплял лучше всего и здесь предполагал сосредоточить свои главные силы. Тесную же, узкую Мельничную гору, где по-прежнему оставались восемьдесят шуваловских гаубиц, занимало только пять мушкатерских полков недавно сформированного, мало обстрелянного Обсервационного корпуса.

Еще днем 31 июля, засветло, на Мельничной горе насыпали четыре батареи. Но за окопы смогли взяться лишь под вечер. Как ни торопились рыть их, а все-таки к ночи не успели закончить.

Фермор и князь Голицын настаивали, чтобы окончить окопы хоть на рассвете 1 августа, если позволит неприятель. Но Салтыков замахал своими пухлыми руками:

— Довольно и так. Пусть лучше солдат выспится перед боем — больше проку будет!

Салтыков уже к вечеру 31 июля знал, где находится король Фридрих, понимал, что Мельничная гора легко может быть окружена пруссаками, но не считал свое положение плохим. По его мнению, левый фланг был маловажен, и Салтыков решил не тратить много сил на его защиту.

Лагерь понемногу затих. Солдаты поужинали, надели к завтрашнему бою чистые рубахи и легли спать под густым августовским небом, по которому одна за другой падали звезды.

Спали недолго: Салтыков поднял армию на ноги в четвертом часу утра, — светлело, в любую минуту можно было ждать атаки. Солдаты успели сварить кашу и выпить по чарке водки, когда, в шесть утра, за Тюнером послышалась оживленная перестрелка.

Выстрелы всполошили всех:

— Пруссак идет! Пруссак!

Смотрели во все глаза из окопов и батарей. Но простым глазом ничего нельзя было рассмотреть. Только Салтыков и его штаб видели в зрительные трубы, как за Мюльбергом горели мосты через Гюнер, подожженные казаками, как, нахлестывая нагайками коней, мчались к лесу красные, синие кафтаны.

— Казаки, — узнал подполковник Суворов, стоявший в свите главнокомандующего.

Салтыков, вместе с начальником австрийского отряда генералом Лаудоном и начальниками дивизий — Фермером и Вильбуа, окруженный штаб-офицерами, сидел у своей палатки. Поодаль, в ложбине, вестовые держали наготове оседланных лошадей.

Подполковник Суворов стоял в стороне. Он не любил компании штабных офицеров и, как всегда, держался от них подальше.

Спустя немного времени на третинских высотах прусские барабаны забили зорю.

— Не обманешь, знаю! Дурачков ловят: барабаны бьют, а корольто уж за это время бог знает куда ушел, — усмехнулся Салтыков.

— Хитрость небольшая, — сдержанно процедил Фермор.

— Король считает нас маленькими детьми: он играет с нами в прятки, — твердо выговаривая каждое слово, отчеканил по-русски генерал Лаудон.

Он служил прежде на русской службе и правильно произнес всю фразу. Только последнее слово он все-таки сказал с мягким знаком: «прятки».

В томительном ожидании прошло три часа.

Небо было безоблачно. Солнце палило немилосердно. Солдаты, разморенные, сидели в окопах. Старики, не раз бывавшие под пулями, дремали, а те, кто еще не видал боя, с волнением ждали решительной минуты. Артиллеристы сидели с зажженными фитилями в руках.

В девять часов с третинских высот ударил первый залп по левому флангу. Видно было, как у шуваловцев взлетел на воздух желтый зарядный ящик. От орудийной запряжки в шесть лошадей уцелела всего лишь одна. Обезумев от страха, она билась в спутанных постромках.

В ответ пруссакам по-особому глухо отозвались шуваловские единороги. На каждый выстрел пруссаков князь Голицын отвечал тремя. В одну минуту Мельничную гору заволокло черным дымом.

Канонада продолжалась уже больше часа, а пруссаки не думали штурмовать Мельничную гору. Только небольшой отряд пехоты попытался перейти на левый берег Гюнера, но был рассеян картечью.

— Пропал наш «скоропостижный» король, — сказал Салтыков, нетерпеливо шагавший по холму.

— Его величество обходит нас, — заметил Вильбуа.

Лаудон чуть сощурил свои большие умные глаза:

— О да, несомненно!

— Король ищет, откуда бы нас побольнее укусить, — говорил Салтыков, — да что-то не может выбрать места. Должен же он откуда-нибудь показать свой длинный нос — ведь скоро полдень!

В окопах и на батареях центра и правого фланга, куда не долетали прусские ядра, тоже подтрунивали над немцами:

— Потерялся пруссак!

— Как зашел в лес, так и заблудился!

— Он в своем царстве да заблудился, тогда что же нам делать?

— Вон Петрушка наш в бору у лесника дочку высмотрел. Полную неделю к ней бегал, штиблеты казенные изодрал, а ничего, ни разу не блудил!

Наконец на Малом Шпице показались пушки. С Клейстберга, искусно укрытая кустами, заговорила батарея.

— Ваше сиятельство, там пехота и конница, — доложил глядевший в трубу князь Волконский.

— Вижу, вижу! Наконец-то, голубчики! Заждались вас, — ответил Салтыков.

— Сейчас они атакуют наш левый фланг, — сказал Фермор.

— А я думаю, — возразил Салтыков, — не атаковал бы он с правого. Надо заставить его величество остановиться на левом!

Салтыков отнял трубу от глаз и обернулся к группе штабных офицеров.

Небольшой худощавый подполковник Суворов был расторопнее всех.

— Александр Васильевич, голубчик, — обратился граф к Суворову, — скажи на Большой Шпиц к Бороздину, пусть-ка он поскорее зажжет брандкугелями¹ деревню.

— Слушаю-с, ваше сиятельство!

Суворов кинулся к казаку, который держал его коня. Конь, спасаясь от надоедливых оводов, без устали мотал головой.

У батареи Бороздина Суворов на всем скаку осадил своего донца. Высокий сухощавый бригадир Бороздин с группой офицеров наблюдал за атакой Мельничной горы, которая обстреливалась пруссаками уже с трех сторон.

— Его сиятельство приказал зажечь Кунерсдорф, — сказал Суворов и отъехал в сторону от батареи.

Суворову хотелось, посмотреть, как зажгут Кунерсдорф. Артиллеристы давно стояли по обеим сторонам гаубиц, каждый на своем месте: кто у ганшпига², кто с прибойником, кто у фитиля. Между орудиями и зарядными ящиками томились в ожидании подносчики снарядов с кожаными сумками через плечо.

¹ Брандкugelъ — зажигательное ядро.

² Ганшпиг — деревянный рычаг для поворачивания хобота пушки.

— Брандкугелями по деревне! — зычно крикнул Бороздин. Офицеры, окружавшие его, заторопились к своим орудиям. Послышалась команда:

— Во фронт!

Солдаты, стоявшие по обе стороны гаубиц, повернулись по команде лицом к орудиям.

— Бери принадлежность!

— Картуз!

Один миг — и картуз с порохом исчез в дуле. Прибойник прибил его до отказа.

Офицеры, наклонившись над единорогами, проверяли, правильно ли они наведены.

— Пали!

Все солдаты отступили на шаг от орудий.

Раздался оглушительный грохот. Волна воздуха качнулась назад. В лицо ударило гарью. Донец Суворова заиграл на месте, вскинув голову и нетерпеливо переступая ногами.

Дым понемногу рассеивался.

Суворов глянул вниз, в долину. Кунерсдорф горел в нескольких местах. Крытые соломой добротные избы сразу занялись огнем. При ослепительно ярком свете полуденного солнца это резвое, буйное пламя потеряло свой зловеще багровый цвет, каким привыкли видеть его ночью. Сейчас пламя было какое-то странно желтое, бледное. В клубах густого черного дыма оно едва было видно на солнце.

Из деревни к лесу бежали несколько человек.

Большинство жителей Кунерсдорфа еще с вечера убрались со скотом и пожитками во Франкфурт.

Суворов повернул донца назад. Отъезжая, он еще раз услышал знакомое:

— Картуз!

И еще раз все потонуло в грохоте.

— Здорово садят! — восхищались пехотинцы второй линии, мимо которых ехал Суворов.

— Горит-то как, ровно от молоньи!

— Глянь, Митрий, вон, у березы, та изба занялась, где нас с тобой старуха ни за что изругала, помнишь?

Суворов спешил на Еврейскую гору. Ему хотелось скорее вернуться к Салтыкову: может быть, главнокомандующий пошлет его с каким-либо поручением туда, в самую гущу боя.

В овраге между Большим Шпицем и Еврейской горой Суворов встретил австрийских гренадер — Лаудонов и Бранденбургский полки — и гусар Коловрата и Витенберга. Они направлялись на Большой Шпиц в подкрепление Румянцову.

В самом же овраге расположились русские — Киевский, Казанский, Новотроицкий кирасирские полки и Чугуевский казачий.

— А где же остальная конница? — спросил Суворов у казачьего сотника, поняв, что Салтыков спешно произвел перегруппировку.

— Драгуны и конногренадеры пошли в тот овраг, в Кунгрунд, а гусары остались в резерве.

— Всё там же?

— Да, здесь, за правым крылом, — махнул нагайкой сотник.

Когда Суворов подскакал к палатке главнокомандующего, Салтыкову уже было не до Кунерсдорфа. Салтыков и вся его свита, не отрываясь от зрительных труб, с волнением следили за тем, как пруссаки атакуют левое крыло князя Голицына.

Соскочив с коня и бросив поводья казаку, Суворов тоже стал смотреть. Он впервые был в сражении. Впервые видел в действии знаменитую армию прусского короля.

Несмотря на сильный огонь голицынских войск, пруссаки уступами шли в атаку. По ровному полю двигались к Мельничной горе правильные ряды прусских гренадер. Высокие, плотные гренадеры шли плечом к плечу крепкой, сплоченной стеной. Когда кто-либо из этих великанов падал, на ходу сраженный пулей, строй не нарушался: ряды тотчас же смыкались, и вся эта непоколебимая, грозная стена продолжала так же безостановочно и неуклонно двигаться вперед.

Время от времени прусские ряды вспыхивали огнем: пруссаки стреляли залпами побатальонно.

«Возьмется они там с фузеями. Только время тратят! В штыки бы сейчас! Хоть в одном месте пробить этот строй. И тогда пошло бы! Честное слово, пошло бы!» — думал Суворов.

Но голицынские гренадеры не двигались с места — они продолжали отстреливаться.

— Узнаю короля Фридриха — он бросил на Мюльберг все свои силы, — спокойно сказал хладнокровный Лаудон.

— Да их втрое больше, чем наших на левом фланге, — сумрачно процедил Фермор. — И к тому же Обсервационный корпус. В нем половина людей ни разу не была в бою.

Салтыков молчал. Он все еще не верил, что главные силы прусского короля направлены на Мельничную гору. Он ждал нападения на свой правый фланг.

Передние прусские шеренги скрылись в ложине. И тут вдруг русские орудия и фузеи разом умолкли.

— Что это? Почему они не стреляют? — гневно крикнул Салтыков.

Он отнял трубу от глаз и удивленно смотрел на всех.

— Ваше сиятельство, ретраншаменты, очевидно, так вырыты, что ни единого рога, ни фузеи не достают в ложину, — ответил Фермор.

«Выдержат ли? Не побегут ли?» — с тревогой думал каждый, глядя, как русские в полном молчании мужественно встречают приближающуюся лавину прусских батальонов.

Пруссаки подходили к Мельничной горе не только с фронта, но и с флангов — от Третина и Малого Шпица.

«Как они стоят? Их сейчас же зажмут в тиски!» — подумал Суворов, глядя на голицынских мушкатеров.

В свите главнокомандующего тоже заволновались:

— Мушкатеров надобно поставить поперек горы!

— Неужто Голицын не догадается перестроить полки?

Все беспокоились о мушкатерах Обсервационного корпуса, которые оказались в весьма невыгодном положении: два полка из них были расположены лицом на юг, два — на север.

Наконец эту опасность поняли и на Мельничной горе: видно было, как засуетились, перестраиваясь, мушкатеры. Они становились поперек горы.

И в обычное время перестроение в русской армии происходило не слишком быстро и гладко, а под угрозой надвигающегося с трех сторон врага, в суете и поспешности, оно прошло еще хуже. Мушкатеры не столько переменили положение, сколько перемешались и сбились на середине горы.

А в это время шуваловцы, занимавшие самый фронт и принявшие на себя первый удар прусских батальонов, не выдержали их страшного натиска. Шуваловцы побежали.

Необстрелянные и плохо обученные мушкатеры князя Голицына не могли спасти положение. Еще несколько минут — и мушкатеры побежали вслед за шуваловцами вниз с Мельничной горы, к болоту.

Все левое крыло русской армии вынуждено было отступить.

ХII

Король Фридрих сидел на ступеньках мельницы, под ее обрубленными картечью, в щепы поломанными крыльями. Он был, как всегда, наглухо застегнут. Черная шляпа нависала над левой бровью. Сухие пальцы сжимали трость.

Король Фридрих улыбался. Он улыбался одним своим широким ртом: войска короля одержали полную победу — все левое крыло русских было разбито.

Восемьдесят секретных шуваловских гаубиц, умолкнув, остались здесь, на Мюльберге. Часть из них прусские гренадеры, первыми вскочившие на батареи, сгоряча заклепали сами. У других были разбиты лафеты, и гаубицы валялись в песке вместе с людскими трупам.

Победа была полная.

Король Фридрих ликовал; он уже отправил гонцов с этим радостным известием в Берлин и к армии в Саксонию.

Напрасно русские перестроили на Большом Шпице свой фланг — ближайšie к оврагу полки поставили поперек возвышенности, как раньше, на Мюльберге, сделал князь Голицын: гренадеры короля не шли вперед только потому, что Фридрих сам еще не знал, что предпринять.

Король Фридрих раздумывал. Генералы почтительно стояли перед ним.

Все они, кто еще сегодня не успел показать храбрость и силу своих солдат, как Зейдлиц и принц Вюртембергский, и кому уже пришлось хорошо поработать, как Финк, Шенкендорф, Линштедт, — все они в один голос говорили, что надо остановиться на Мюльберге и не идти дальше.

— Солдаты очень утомлены — они десять часов на ногах, пять часов в бою, — говорил Финк.

— Ваше величество, русские за ночь сами уйдут прочь. Им больше ничего не остается делать, — прибавил Зейдлиц.

Король иронически улыбнулся:

— Уйдут, чтобы завтра же снова прийти сюда.

— Они не скоро оправятся от такой конфузии: ведь уничтожено пятнадцать батальонов, — убеждал Линштедт.

— Ерунда! Враг еще силен. Посмотрите, как они стоят, — кивал на Большой Шпиц король Фридрих. — Господа, я вас не узнаю!

Улыбка разом исчезла. На лице короля все, за исключением длинного носа, сразу стало круглым: рот, глаза.

— Вы не хотите, чтобы я до конца воспользовался блистательной победой?

Генералы молчали, потея. Король сидел хоть и под разбитыми крыльями мельницы, но все-таки в тени, а им приходилось стоять на самом солнцепеке.

— Я понимаю вас, Зейдлиц: вам не нравятся эти озера и овраги. Вашим гусарам негде развернуться...

— Мои гусары пойдут туда, куда прикажете, ваше величество! — чуть вспыхнув, ответил Зейдлиц.

Король Фридрих пропустил его слова мимо ушей. Он сделал вид, что занят другим, — в это время к мельнице подъезжал тучный генерал Ведель.

— Вот посмотрим, что думает мой храбрый Ведель, — немного ласковее сказал Фридрих. — Мой Леонид, — прибавил он, позабыв на минуту, что этого «Леонида» только две недели тому назад Салтыков разбил под Пальцигом в пух и прах. — Генералы говорят, что нам следует остановиться здесь и не идти дальше. Что думаешь ты, Ведель?

Хитрый Ведель, весь век проживший при дворе, сразу, оценил положение. Он отлично знал короля Фридриха. Король был взбалмошен и упрям, как его покойный отец. Ведель знал, что если Фридрих задумал идти вперед, то никакие доводы и убеждения, никакая сила не собьют его с намеченного пути.

— Вперед! Уничтожить, истребить этих варваров! — театрально поднимая вверх руку, сказал Ведель.

Король Фридрих вскочил с места, шагнул к старому генералу и обнял его — уколол своей небритой щекой дряблую щеку Веделя. Так Фридрих целовался со всеми — даже со своей женой: губы короля Фридрих оставлял для хорошеньких женщин.

Через минуту загрохотали барабаны: батальоны прусского короля снова пошли в атаку.

ХIII

Когда голицынские мушкеры, не выдержав натиска всей армии прусского короля, посыпались вслед за шуваловцами с Мельничной горы в болотистую долину Эльзбуш, Салтыков поехал со всем штабом на Большой Шпиц: он ждал, что теперь король будет атаковать центр его позиции.

Лаудон поскакал туда несколько раньше. На Еврейской горе остались Фермор и Вильбуа.

Фермор не вмешивался ни во что, стараясь все время держаться в тени. Суворов (по должности дежурного штаб-офицера 1-й дивизии он был обязан оставаться с Фермером) слышал, как Фермор с досадой в голосе говорил пухлощекому молодому генералу Вильбуа:

— Я ж его предупреждал... Теперь у нас позиция точь-в-точь как при Цорндорфе: мы прижаты к реке...

Подполковник Суворов томился на Еврейской горе без дела. Он ходил взад и вперед возле генеральской палатки и думал.

В полуверсте от него русские солдаты и офицеры дерутся с врагом, а он отсиживается тут вместе с генеральскими денщиками да поварами, которые, трусливо вытягивая шеи из-за палаток, глядят, не упадет ли где поблизости ядро.

Два года Александр Суворов всеми силами старался попасть в действующую армию, в бой, в огонь. Мужественно сражаться во славу отечества — это было целью всей его жизни, его давнишней мечтой. Сражаться и побеждать. Он с детства готовил себя к этому, когда целые дни просиживал за Плутархом, Корнелием Непотом и «Книгой Марсовой», рассказывающей о русских победах; когда в мечтах жил с великими полководцами — Петром I, Александром Македонским, Ганнибалом.

Русские войска уже два года ходили по вражеской земле, а он? Чем только не занимался он в эти два года!

Сопровождал батальоны пополнения из России в Пруссию, — бесконечные подводы, нерадивые ямщики, заботы о фураже и провианте, ветхое обмундирование солдат. Заведовал в Мемеле продовольственными магазейнами и гошпиталями, — папенька пристроил к хлебному делу. «Клистирная трубка вместо сабли!» — усмехнулся Суворов, вспоминая. Комендантствовал в том же Мемеле, — пьяные драки офицеров, жалобы жителей на военных постояльцев. Затем, когда уже сделалось совсем невмоготу, пристал к отцу с резонами, доводами, уговорами.

Василий Иванович не любил войны и жалел единственного сына:

— Где ж тебе переносить лишения походной жизни?

А он с детства приучал себя: спал на соломе, ел щи да кашу, закалялся — лето и зиму обливался холодной водой.

— Ты худ и слаб. Мал ростом...

— Так ведь не в прусской же армии служить! Это в Пруссии матери страшат ребят: «Не расти, а то тебя вербовщики в солдаты возьмут!» А к тому ж Фермор или тот же граф Салтыков — этакие, подумаешь, геркулесы!

Василий Иванович сдался. Поехал, попросил, чтобы его сына послали к армии, в Пруссию. Но Василий Иванович остался верен себе: пристроил Сашеньку опять на теплое местечко, в штаб 1-й дивизии.

«Тотчас же после баталии — рапорт! Проситься в полк, в роту — куда угодно! Чтоб только не киснуть больше ни в обозе, ни в штабе! Чтоб хоть раз побывать самому в какой-нибудь плохонькой стычке».

Отбросил эти мысли. Стал думать о другом.

Что сделал бы он теперь, будучи на месте прусского короля? Ударить на Шпиц от болота. С тылу захватить большую батарею Румянцова. Батарея обстреливает всю кунерсдорфскую долину. С гусарами врубиться на правый фланг. И тогда — помилуй Бог!

Но Фридрих, к счастью, этого не делал. Король Фридрих почему-то медлил, хотя Мельничная гора пестрела мундирами. Народу на ней было как на ярмарке.

Салтыков успел повернуть налево два крайних полка, стоявших на Большом Шпице, — Ростовский и Апшеронский. Они стояли теперь поперек возвышенности. Ростовцы и гренадеры мужественно отбивали все атаки пруссаков, которые пытались пробиться на Большой Шпиц с фронта, через крутой овраг Кунгрунд.

Тем временем такое же поперечное положение постепенно принимали все полки второй линии. За ростовцами и гренадерами уже образовалось несколько рядов пехоты.

И тут Фридрих снова бросил войска в атаку.

На самом краю Мельничной горы, в кустах, пруссаки поставили батарею. Она била навесным огнем по Большому Шпицу. Ядра ложились в густых шеренгах перестроившихся мушкатеров. Вслед за этим от Третьяка показались батальоны пехоты. Слева от них ярко заблестели на солнце, зажелтели латы кирасир принца Вюртембергского.

Пруссакки перешли болотистый Гюнер и направлялись в обход Большого Шпица: шуваловцы, бежавшие с Мельничной горы по этому кочкарнику, показали прусскому королю, что берега Гюнера не так уж непроходимы, как он раньше думал.

На Большом Шпице засутились. Было видно, как артиллеристы Бороздина, точно муравьи, облепив тяжелые гаубицы, спешили переставить одну батарею из центра горы на ее северный склон.

Нахлестывая нагайкой коня и болтая локтями, к Фермеру прискакал один из адъютантов Салтыкова: главнокомандующий требовал подкрепления. Азовский и Низовский полки, стоявшие на самом краю Еврейской горы, бегом бросились к Большому Шпицу.

Пруссакки шли быстро. Кирасиры держались ближе к оврагу Кунгрунд, видимо намереваясь ударить во фланг первой линии пехоты, которая стояла поперек Большого Шпица. А гренадеры забирали несколько правее, где в настороженной тишине поджидали их Азовский и Низовский полки, стоявшие в первой линии.

Последние ряды азовцев и низовцев как добежали до гребня, так сразу и плюхнулись на колени, готовясь стрелять.

Прусские гренадеры двигались уступами по два батальона.

Суворов с большим любопытством смотрел в трубу на пруссаков.

Он снова видел эту безукоризненно ровную линию их рядов, их четкий шаг.

«Машина! Помилуй Бог, машина! Бездушная, бессмысленная! Ерунда! Фокусы! Пустая затея», — злился он.

Суворову не нравилась эта прославленная прусская линейная тактика: она отжила свой век и для русской армии не годилась.

«Солдат идет как заведенный, сам не ведая, куда и зачем. В голове только одно: как бы линию соблюсти. А когда вдруг очутится один, будет ли тогда знать, что делать? Вот дойдут сейчас до кустиков да овражков и рассыплются кто куда. Ох, дали бы мне хоть полк! Я бы всю эту прусскую позитуру — в кашу!» — думал он. Суворову даже не стоялось на месте.

А гренадеры продолжали свой затверженный, под палкой заученный шаг. Они шли без единого выстрела, спокойно, как на ученье. Издалека доносился грохот их барабанов. Затем барабаны

умолкли. Залились гобои. Они играли гимн: «Ich bin ja, Herr, in deiner Macht!»¹

И тотчас же гренадеры открыли огонь. Пруссаки стреляли, правильно чередуясь: пять-шесть шеренг выбегали вперед и давали залп. Пока эти, стоя на месте, заряжали, сзади, на смену им, выбегали вперед следующие шеренги.

Суворов не отрывался от трубы. Он видел, как первые ряды пруссаков, сломав всю свою безупречную линию, карабкались наверх по обрывистым склонам Большого Шпица.

«Вот теперь каждый из них сам за себя, в одиночку! И только кинуться на них в штыки хорошенько — и конец всей их хваленной силе!» — думал он.

Пруссаки привыкли к тому, что враг обычно не выдерживал неуклонного, размеренного движения их батальонов и бежал с поля, не доводя дела до рукопашной схватки. Но этот враг оказался иным.

Бороздинские гаубицы были удачно поставлены: их ядра косили пруссаков. Гренадеры один за другим падали вниз, сбивая идущих сзади. Но все-таки батальоны, хоть и редая, продвигались вперед.

Горячий, нетерпеливый, Суворов не мог видеть, как пруссаки идут, а русские спокойно стоят и ждут, вместо того чтобы самим кинуться навстречу врагу.

«Нет, нужно переучить, переделать всю армию!» — думал он.

Среди визга ядер и свиста пуль прокатилось «ура»: азовцы и низовцы встретили пруссаков в штыки. Прусская пехота дрогнула и побежала с горы.

— Вот так! Вот молодцы! Наконец-то сделали по-русски! Штыком их! Штык не выдаст, это не пуля! — восхищенно говорил Суворов.

Здесь уже все было в порядке. Суворов перевел зрительную трубу направо. Прусские кирасиры мчались вперед. Крупные вороньи кони легко скакали через бугры и ямы. Кирасиры заезжали во фланг новгородцам.

Новгородцы дрались уже на два фронта: отбивали прусскую пехоту, которая яростно наседала на них со стороны Мельничной горы, и отстреливались от кирасир.

Несколько лошадей со своими грузными всадниками покатались под откос. Уже кое-где в кустах желтели окровавленные, пробитые пулями кирасы. Еще один прыжок — и вороньи кони кирасир встали на гребне Большого Шпица. Засверкали палаши. Прусские кирасиры рубили новгородцев.

Новгородцы попятились назад. В образовавшийся пролом тотчас же кинулась из Кунгрунда прусская пехота, которая атакой в лоб не могла сюда взобраться.

¹ Господи, я в твоей власти! (Нем.)

Неприятель был уже на Большом Шпице.

«Что же это? — встрепенулся Суворов. — Поражение?» Кровь бросилась ему в лицо.

Первая мысль была — вскочить на своего донца и мчаться туда, наперерез этим высоким вороным коням.

Он оглянулся на Фермора. Фермор, не отрываясь от зрительной трубы, что-то быстро говорил генералу Вильбуа, тоже смотревшему вниз. Внизу снова прокатилось «ура».

По неширокой площадке Большого Шпица мчалась во весь карьер союзная конница. Яркие ментики австрийских гусар перемежались с васильковыми кафтанами русских драгун. Впереди, с поднятым палахом в руке, скакал генерал Румянцов. Сзади за ним мелькнул белый жеребец Лаудона.

Суворов опять поднес трубу к глазам.

Союзная конница плотной стеной летела навстречу рассыпавшимся по всему склону прусским кирасирам. Еще миг — и все потонуло в тучах поднятой пыли.

Суворов подбежал к Фермору.

— Ваше превосходительство, разрешите мне туда...

Фермор, ни на секунду не отрывавшийся от зрительной трубы, улыбнулся и весело сказал:

— Вы опоздали, Александр Васильевич. Свершилось невозможное: граф Румянцов и генерал Лаудон с тремя слабыми полками, кажется, опрокинули кирасир короля!

— Конечно, смотрите — пруссаки уже бегут! — подтвердил Вильбуа.

Суворов посмотрел вниз.

Ни пехоты, ни конницы неприятельской на Большом Шпице уже не было. Вороные кони рассыпались по всему склону, сломя голову летели вниз, к болоту.

«Вот это дело! Нет, проситься сейчас же в конницу! И только в легкую!» — твердо решил Суворов.

XIV

Зейдлиц со всей своей конницей целый день томился без дела на левом фланге пруссаков.

Впереди уныло торчали трубы сожженной деревни Кунерсдорф, откуда тянуло, как из овина, горьким дымком. Лошади стояли под седлом уже двенадцать часов. Всадники изнывали от жары и безделья. Работы не было, но она могла появиться каждую минуту. Зейдлиц ждал, что пехота Финка расчистит ему дорогу на Большой Шпиц, куда понемногу стягивались все русские войска. Зейдлиц разговаривал в кругу офицеров, изредка поглядывая на Мюльберг.

— Кто-то скачет к нам, — сказал полковник черных гусар.

Зейдлиц обернулся. Из мюльбергских кустарников выскочил всадник. Он мчался что было мочи. Все узнали Рудольфа, одного из адъютантов короля.

— Его величество приказал идти в атаку. Туда, на ретраншменты! — указывая на Большой Шпиц, выпалил Рудольф и, не дождавшись ответа, повернул коня.

— Передайте его величеству, что еще рано атаковать Большой Шпиц! — крикнул ему вдогонку Зейдлиц.

Не успел ускакать первый адъютант, как за ним прискакал к Зейдлици второй:

— Король требует немедленно атаковать Большой Шпиц!

Адъютант удивленно смотрел на спокойное лицо Зейдлици.

«Фриц сегодня окончательно сошел с ума», — подумал Зейдлици, но ответил:

— Передайте его величеству — еще не настало время для атаки.

И, вынув трубку, Зейдлици стал спокойно закуривать.

Кирасиры, стоявшие в передних рядах, с интересом ждали, что выйдет из этой стычки Зейдлици с королем.

Не прошло и десяти минут, как на взмыленном коне показался все тот же Рудольф. Он был без шляпы, взлохмаченный и красный. Задыхаясь от волнения, он прерывающимся голосом выпалил:

— Его величество очень недоволен! Его величество велел сказать так: «Ради самого черта, пусть Зейдлици идет в атаку!»

Впереди — кунерсдорфские пруды; стало быть, развернуться для атаки можно лишь за ними, на полях.

Впереди — перекрестный огонь сильных русских батарей и ретраншментов, из которых все так же торчат треуголки пехоты и настороженные дула тысячи фузей.

Впереди — рвы, профиля которых Зейдлици не знает. Атаковать конницей Большой Шпиц пока что безрассудно, но атаковать приказывает король. Зейдлици бросает недокуренную трубку, вздыбливает коня и выскакивает перед фронтом.

— За мной, друзья! — кричит он, выхватывая палаш.

Король может быть доволен: конница Зейдлици пошла в немислимую атаку.

XV

День понемногу проходил, а Ильюха Огнев еще ни разу не был в бою.

Апшеронцы, слева защищавшие большую батарею Румянцова, не трогались с места. Только тогда, когда на гору вскочили прус-

ские кирасиры, апшеронцам и псковичам было приказано на всякий случай подать вперед свой правый фланг.

Мушктеры в сотый раз за день осматривали кремни у фузей, а Егор Лукич сердито тарашил глаза, шептал, напоминая в последний раз Ильюхе:

— Ежели пехота — целься в полчеловека, а ежели гусар — бей в грудь коня!

У Ильюхи сильно стучало сердце. «Скорей бы уж, скорее!» Но и в этот раз не пришлось стрелять.

Мимо пехоты словно ураган промчались в атаку на прусских кирасир два полка русских драгун и австрийские гусары. Земля задрожала от топота сотен лошадей, далеко прокатилось громовое «ура», и конница скрылась в облаке пыли.

Очень скоро после этого апшеронцам и псковичам велели вновь занять прежнюю позицию: пруссак был прогнан с большим уроном.

Мимо них проехал окруженный генералами главнокомандующий граф Салтыков.

— Победа за нами. Враг бежит, ребятушки! — говорил он солдатам, широко улыбаясь и размахивая треуголкой.

Солдаты оживились, повеселели. После того как пруссаки заняли Мельничную гору, в ретраншаменты все сидели молча, нахохлившись. Ждали беды. Теперь же, после первой за день удачи — отбитой яростной атаки пруссаков, — все заговорили:

— Пруссак только хитростью берет. Ровно собачонка — то с этого боку цапнет, то с другого. А как чуть доведется сойтиться, всегда наша возьмет!

— Куда немцу против русского!

И тут вскоре Ильюхе Огневу впервые пришлось стрелять по врагу.

Из-за кунерсдорфских огородов, таких знакомых русским солдатам, показалась конница. Кунерсдорфское поле разом зацвело тысячами разноцветных мундиров, запестрело воронами, серыми, гнедыми лошадьми.

— Кони-то, кони, гляди! — не выдержав, восхищенно причмокнул кто-то зади за Огневым.

— Застоялись. Выехали размяться!

— Вот погоди, наша артиллерия их тотчас... — начал чей-то старый голос, видимо бывалого человека, и не успел докончить: тут же, рядом, ухнули, ударили тяжелые картаульные гаубицы большой батареи.

Молодые мушктеры зажимали пальцами уши, морщились, косясь на батарею. Ни пушек, ни людей не было видно: батарея вся скрылась в черном пороховом дыму.

За первым ударом бухнул второй, третий. Артиллерия была по прусской коннице, которая проходила на рысях между тремя кунерсдорфскими прудами.

Ильюха смотрел во все глаза. Вот один кирасир сунулся вниз головой с седла. Его высокая белая лошадь продолжала мчаться вместе с остальными всадниками вперед. Под другим ядро повалило коня. Кирасир успел удачно соскочить, но прыгать ему пришлось в пруд. Кирасир, в забрызганных грязью белых лосинах, стоял по колено в воде, не зная, как выбраться: мимо него взвод за взводом скакали драгуны, гусары.

Ядра косили прусскую конницу Зейдлица. Узкие проезды между прудами с каждой минутой все больше и больше загромождались трупами людей и лошадей. Гусары, шедшие последними, перепрыгивали через эти препятствия на своих легких буланых лошадках.

И все-таки сотни кирасир, драгун, гусар благополучно проскакивали между прудами и под огнем выстраивались по эту сторону прудов.

— Оправляй замки, кремни! Готовься к стрельбе! — хрипловато крикнул тучный командир полка, улучив момент, когда соседи — большая батарея — заряжали.

И тотчас же к гулу тяжелых единорогов примешался непрерывный треск фузей: все пехотные полки южного склона стреляли по коннице Зейдлица, которая готовилась идти в атаку.

Огнев в семнадцать приемов, как учил Егор Лукич, быстро и точно заряжал. Не спешил выстрелить в одиночку, ждал команды. Стрелял без осечки.

Снизу на них, на большую батарею и на ретраншаменты, летели три линии прусской конницы. В вечернем солнце зловеще блестели клинки палашей и сабель.

«Доскачут или нет?» — билась у Огнева мысль.

Вот всадники еще ближе. Уже можно различить их сведенные злобой гримасой лица, кричащие рты.

Еще залп. Еще раз из всех единорогов хлестнула картечью большая батарея.

Поспешно зарядив фузею и не слыша над ухом команды «пали», Ильюха Огнев посмотрел вниз. Прусская конница, сломав все свои три линии, в беспорядке скакала назад, к предательским кунерсдорфским прудам. А сзади за нею с гиканьем и криком «ура» мчалась русская и австрийская конница.

— Ну, теперь нарубят капусту! — сказал кто-то.

— Не лишь бы какой — прущкой! — прибавил Егор Лукич, вытирая рукавом кафтана лоснящееся от пота, коричневое от загара лицо.

АДМИРАЛ УШАКОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Федя Ушаков торопился домой, — надо было готовиться к выпускным экзаменам. Он шел вдоль Невы. Река только неделю тому назад вскрылась, но на ней уже было оживленно: вверх и вниз сновали челноки и шлюпки, бегали, пеня воду, узконосые рябики.

Против коллежских апартаментов бабы весело колотили вальками. Босоногие ребяташки полоскались в холодной воде.

Вечер был теплый.

Голубоватое небо с каждым часом становилось все светлее и светлее. Там, у горизонта, оно казалось уже совершенно прозрачным, изумрудно-желтым. Чувствовалось, что едва закатится солнце, как тотчас же на город прольются светлые сумерки белой северной ночи.

Ушаков миновал сухопутный кадетский корпус. Окна в меньшиковском доме были раскрыты настежь. В них мелькали голубые, кофейные, серые кафтаны, доносились голоса: сухопутные тоже готовились к экзаменам.

За корпусом по берегу тянулись поленницы дров, раскинулся склад разных материалов: лежали груды камня, бревна, доски, дранка. К берегу пришвартовалась высокая баржа, груженная древесным углем.

Подходя к морскому корпусу, Ушаков издали увидел на своей пристани (которая была сделана в виде гавани, скобою) и возле нее знакомые зеленые сюртуки. Весною, в ясную погоду, набережная и пристань были излюбленным местом кадетских сборищ.

Из тесных, сырых, опостылевших за зиму классов и каморок высыпало на бережок все свободное от нарядов народонаселение корпуса. Сюда собирались поговорить, посмеяться, узнать последние корпусные новости. Здесь, не таясь, курили, играли в зернь¹, устраивали борьбу. Иные даже приходили сюда с учебниками, на-

¹ Игра в зернь — игра в кости (или зерна).

деять позаниматься на свежем воздухе, но это редко удавалось: обстановка мало располагала к наукам.

Высоко поднятая бревенчатая пристань называлась в корпусе «опердеком»¹. На этом опердеке, по неписаным гардемаринским законам, разрешалось сидеть только гардемаринам. Кадеты всех классов безжалостно изгонялись вниз, на прибрежный песок и камни, на «гондек»². Исключение делалось лишь для тех, кого приводил с собою на пристань гардемарин.

Проходя мимо, Ушаков решил завернуть на минуту сюда, посмотреть, чем занимаются его товарищи.

Возле пристани, на берегу, на гондеке толпились кадеты. Стоял дым коромыслом: тут курили, о чем-то горячо спорили, играли в свайку. Чуть в стороне несколько завязтых рыболовов, примостившись на камнях, удили рыбу. Группа кадет младшего, 3-го класса обступила вихрастого гардемарина Алешку Тверитинова, любившего возиться с малышами. Алешка заказывал, а третьеклассники вязали морские узлы. Они наперебой друг перед дружкой старались поскорее завязать узел и заслужить одобрение гардемарина. А тот важно курил, сплевывая по-боцмански, снисходительно осматривал их работу и с улыбочкой щелкал по затылкам отстающих, неопытных такелажников.

Весь опердек, всю бревенчатую пристань, безраздельно занимали господа гардемарины. Кто, свесив ноги вниз с пристани, сидел и курил, кто, подостлав сюртук и оставшись в одном каламянковом камзоле, лежал, глядя на Неву. Строили планы на будущее, рассказывали разные истории. В дальнем углу пристани группа гардемарин сообщала повторяла фортификацию, которую учили не по учебнику, а по запискам. Один читал вслух по толстой тетради, а остальные слушали.

В центре расположилась самая шумная компания.

Среди других товарищей Федя Ушаков увидел и своего сожителя по комнате, черноглазого, курчавого Гаврюшу Голенкина.

Голенкин всегда учился прилежно, но в прошлую осень вдруг вторился в какую-то девчонку и теперь знал одно: чистить сюртук да, как трунил над ним степенный Федя Ушаков, тировать³ свои волосы.

Всех на пристани, видимо, потешал пучеглазый Нерон Веленбаков.

Нерон был не лишенный способностей, смысленный парень, но его губило пристрастие к полпиву. Он предпочитал посидеть в

¹ Опердек — открытая верхняя палуба.

² Гондек — нижняя палуба.

³ Тировать — покрывать смолой, смолить.

кабачке с корпусным боцманом Лукичом, обучавшим кадет таке-лажному делу, чем корпеть над какой-либо сферикой.

На этот раз, к удивлению Ушакова, в руках у Нерона Веленбакова была книга. Наморщив лоб, Нерон перелистывал ее. Перед ним, в позе ученика, вызванного учителем к ответу, стоял гардемарин Антоша Селёвин.

Это был маленький угреватый паренек. За его невзрачность товарищи называли Селёвина «Се-не-лёвин», потому что в его внешности действительно было мало львиного.

— Вот те на — Нерон взялся за учебу! — сказал Ушаков, подходя к товарищам.

— Он экзаменует Селёвина, — объяснил быстрый Голенкин.

— Что у тебя — Курганов? — наклонился к Веленбакову Ушаков.

— Нет, Ла-Кроц.

— «Универсальная история», — ответило за Нерона несколько голосов.

— А какой же вопрос он задает?

— Разве не знаешь Нерона? — улыбнулся Селёвин. — Он выискивает, где про беспутства говорится...

Веленбаков сосредоточенно листал книгу.

— А ну-ка триста восьмой вопрос, — вскинул он глазами на Селёвина и прочел: — «Каких качеств была Иулия, дочь Августова?»

Все засмеялись.

— Вот видишь, что интересно Нерону, — сказал Антоша и без запинки ответил: — «Она была такого развращенного нрава, что отец ее Август принужден был сослать ее на остров Пандатарии».

Веленбаков, проверявший ответ по книге, восхищенно сказал:

— Верно! Слово в слово! А ну еще один!

Он провел пальцем по строчкам:

— Какой смерти умер Клавдий?

— Ну, это знают все, — вмешался Голенкин. — Жена отравила его грибами!

— Гляди, Нерон, как пойдешь с Лукичом на Десятую линию в кабак, не закусывай мочеными груздочками! — смеялись товарищи.

— Нерон, а ты помнишь, что о твоём тезке у Ла-Кроца сказано? — спросил Селевин.

— Нет. А что?

— Нерон был самый негодный из римских цезарей.

— И зачем тебе отец такое имя нарек? — потешались гардемарини.

— Так то ж цезарь, а я ведь всего лишь капрал, — отшучивался Веленбаков. — Федя, а ты знаешь, — обернулся он к Ушакову, — как твой Гаврюша сегодня ловко письмецо своей милой переслал? Сказывал он тебе?

— Нет, ничего...

— Неужто не говорил? — с деланным удивлением переспросил Веленбаков. — Ему за гардемаринство дают в месяц полтину, как сказано: «для лучшего в трудной морской службе куража и дабы в обучении ревностнее простирался», а Гаврюша потратил ее на шелковую ленту. Обмотал лентой письмо и передал милой: мол, сделайте мне бант на шляпу! Вот каков!

Все гардемарины и сам черноглазый Голенкин смеялись.

— Молодец, хитер! Своего добьется! — чуть улыбнулся Ушаков.

— Федюше так не придется делать, — постарался перевести разговор зардевшийся Голенкин.

— Верно, он у нас красивый, черт! — поддержал Веленбаков, глядя снизу вверх на Ушакова.

— А когда еще мичманский мундир наденет, тогда всем девкам пропасть! — шутили гардемарины, зная, что Федя Ушаков скром и застенчив.

— Да ну вас! — сконфузился Ушаков и круто повернулся.

— Постой, схимник, куда же ты? Посиди с нами! — задержал его Гагарин.

— Некогда: надо идти повторять навигацию.

— Зачем тебе повторять? Ты же смеешься над линейной тактикой!

— Смеюсь и буду смеяться, а знать надо! — освободился от Гагарина Ушаков.

— Федя, уже поздно: вечер на дворе! — кричали ему.

— Ушакова не переделаешь: как сказал, так и будет! — услышал он последние слова Голенкина.

Ушаков направлялся к корпусу.

Он прошел мимо главного здания. Из окон второго этажа, где помещались классы, выглядывали гардемарины, готовившиеся к экзаменам. Вон на подоконнике сидит с тетрадью и карандашом в руке первый ученик, Федюша Калугин. У другого окна, заткнув пальцами уши, склонился над книгой рыжеволосый Федя Путятин. Так смешно получилось — в первой четверке выпускников три Федора: Калугин, Путятин, Ушаков.

Возле входной двери корпуса на притине¹ скучает часовой, солдат морского полка.

Триста шестьдесят воспитанников морского кадетского корпуса помещались в каменном двухэтажном доме Миниха и в семи деревянных «связях» — флигелях, пристроенных во дворе. В них жили по преимуществу гардемарины.

¹ Притин — место, где ставится часовой.

В «связях» жить было вольготнее, чем в Миниховом доме, — меньше надзора. После молитвы и вечерней поверки можно незаметно улизнуть куда-нибудь погулять: забор, выходящий на Двенадцатую линию, обветшал и был весь в щелях. А ротный капитан-лейтенант лишь изредка проверял, все ли гардемарины дома.

Положим, Федя Ушаков ложился спать вовремя, ночью никуда не хаживал, но и ему маленький деревянный домик был больше по душе.

Три шаткие ступеньки крылечка, глиняный рукомойник, болтающийся на веревке, темные, крохотные сенцы, пахнущие кислятиной, да и сама каморка в одно окошко, с бревенчатыми, выскобленными стенами — все это живо напоминало Ушакову родную тамбовскую Алексеевку.

Отец Ушакова был небогат: за ним числилось всего девятнадцать душ, из которых пять — немощные старики.

В далекий Петербург пять лет назад Федя Ушаков приехал в липовых лаптях. Кадеты смеялись над этим невысоким, коренастым, синеглазым пареньком, который глядел на всех исподлобья, сдвинув густые брови.

Но когда желтозубый князь Гагарин попробовал было тронуть Федю Ушакова, этот тамбовский паренек так стукнул его по загривку, что у Гагарина навсегда отпала охота задевать «лапотника».

...Ушаков прошел через «сахарные» ворота во двор. («Сахарными» они назывались потому, что в соседнем доме был сахарный завод.)

Закатное солнце заливало весь корпусной двор — флигельки, хлебную и поварню, возле которой солдат рубил дрова.

На крылечке дома № 3, где жил Ушаков, сидел с книгой в руке его второй сожитель — румянощекий, плотный Паша Пустошкин. Паша хорошо успевал в науках, но зимою три месяца проболел, отстал и теперь целые дни занимался.

Ушаков не стал ему мешать разговорами (Федя вообще был не из болтливых), а сразу прошел в свою комнату.

Комната была тесная — в ней едва помещались три кровати, стол, скамья и табуреты. На стене висела полочка с книгами, а над ней, на желтых бревнах, была приклеена гравюра — идущий под марселями в полветра¹ корабль, перед которым лежит Слава с трубою в руке. Она трубит:

Дети, сему учитесь,
Волн морских не страшитесь!

¹ Полветра — когда ветер дует перпендикулярно плоскости судна.

Ушаков аккуратно повесил шляпу на гвоздь, поднял окно и взял с полки «Навигацию» Семена Мордвинова. Он присел к окошку и раскрыл книгу на том месте, где давеча остановился:

«Навигаторам нужно знать напервое мореплавания до выхода из порту о исправлении склонения компаса, чтоб знать, сколько в которую сторону компас склонение имеет для знания прямого пути».

II

...Солнце давно зашло. Ушаков продолжал сидеть у окна, — еще можно было читать не зажигая огня.

Где-то на улице послышался шум, крики. Федя заткнул уши пальцами и продолжал читать.

Вдруг в сенях раздались шаги, дверь распахнулась, и Паша Пустошкин крикнул:

— Федя, на Проспективной пожар!

И убежал.

Ушаков невольно глянул в окно: зарева не было видно. Но он тоже сорвался с места и, надевая шляпы, помчался вслед за Пашей.

Пожар был у Большой Проспективной улицы.

Прыгая через канавы, еще полные весенней воды и грязи, Ушаков увидел: горит деревянный одноэтажный дом.

Пламя вместе с дымом вырывалось сквозь угловое, вероятно кухонное, окно. Было странно видеть, что при этом из трубы дома спокойной струйкой тянется обычный дымок.

Возле дома толпился народ.

Несколько мужиков и какой-то матрос суетились, что-то кричали, но ничего не предпринимали. Ни у кого из них не было ни ведра, ни багра, хотя на пожар полагалось являться всем с ведрами, топорами, баграми и лестницами.

Подальше от пожара держались бабы, Они обступили какую-то высокую женщину в шубе и пуховом платке, которая стояла возле узлов, подушек, укладок, сваленных прямо в топкую грязь пустыря. Возле нее, всплескивая руками, голосила старая баба, по всей видимости стряпуха.

Бабы соболезновали, говорили все разом, не слушая друг друга, а высокая женщина, словно окаменелая, смотрела, как огонь делает свою разрушительную работу.

— И чего это никто не едет и заливных труб не везет? Ни коллежские, ни солдаты? — обернулась к Феде Ушакову какая-то молодая бабенка, когда он подбежал к толпе.

Ушаков промолчал. Он и сам не знал, почему так замешкались и полиция и служители двенадцати коллегий, возле которых в сарае хранились пожарные трубы.

Его внимание сразу привлекло другое: детский плач в толпе.

Федя подошел поближе и увидел, что на узлах сидела курносовая девочка. Она плакала, запрокидывая назад голову.

— Испугалась, поди? — сказал, не обращаясь ни к кому, Паша Пустошкин, стоявший рядом с Федей.

— Нет, плачет, что сгорит ее снегирь. Он в доме, в клетке оставши... — словоохотливо объяснил из толпы чей-то женский голос.

— А где висит клетка? — спросил Федя Ушаков, протискиваясь к девочке.

— В светелке... Над окном! — сквозь слезы выдавила она.

Ушаков повернулся и побежал к горевшему дому.

— Федя, куда же ты? — испуганно крикнул ему вдогонку Паша Пустошкин.

Ушаков подбежал к дому.

Дым уже показался из дверей.

Прикрывая голову бортом сюртука, Федя смело вскочил в дымные сени.

За ним раздался испуганный бабий вопль:

— Куда он? Рехнулся парень!

В сенях Ушакова охватило таким горячим воздухом, будто он попал на полók жарко натопленной бани. Слева, на кухне, гудело, билось пламя, — дверь на кухню была заперта. Зато справа дверь в комнаты стояла распахнутой настежь.

Горечь сдавила горло. Слезы посыпались из глаз. Но Ушакова это не остановило, — сколько раз он бывал в курных избах, сколько раз мылся в прогорклых от едкого дыма деревенских банях!

Он вскочил в комнату и, протирая глаза, пригляделся в дыму. Над одним из окон висела маленькая клетка. В ней, перепархивая с жердочки на жердочку, тревожно кричал снегирь.

Федя вспрыгнул на лавку, сорвал с гвоздя клетку и опретью кинулся вон.

В сенях его снова обдало нестерпимым жаром: кухонная дверь уже начинала тлеть. Густой столб черного дыма непроницаемой стеной закрывал выходную дверь.

Пригнув голову, Ушаков бросился наугад туда, где должен был быть выход, откуда слышались тревожные голоса. И очутился на воздухе.

Толпа, в волнении ждавшая его, облегченно вздохнула:

— Жив!

— Бабоньки, несет!

— Клетку вынес!

— Ну и отчаянный же!

Какой-то дед, только что прибежавший на пожар, услужливо плеснул на плечи Ушакова ведро воды.

Встряхиваясь, Федя побежал к толпе.

Навстречу ему спешила высокая женщина. Ее красивое лицо выражало испуг.

— Не обжегся? И зачем было лезть в огонь? Всё ее прихоти, ба-ловницы! А как достал, теперь небось и не взглянет на своего сне-гиря! — говорила она Феде, словно давно знала его.

Девочка по-прежнему сидела на узлах, но уже не плакала.

— Ой, как тебя облили! — звонко рассмеялась она, принимая из рук Феде клетку со снегирем.

— Храбер солдат!

— Какой солдат? Гардемарин!

— И чего лез, непутевый? — обсуждали в толпе происшествие.

Ушаков покраснел от смущения и, не глядя ни на кого, побе-жал через пустыри домой.

Навстречу ему, дребезжа, мчалась телега. В ней, свесив ноги, сидели полицейский и несколько коллежских служителей. Из-за их спин торчала заливная труба. А за телегой спешил к пожару плутонг¹ солдат Великолуцкого пехотного полка, который по рас-писанию должен был тушить пожары на Васильевском острове.

III

Когда Гаврюша Голенкин вернулся домой, было уже за пол-ночь. Федя Ушаков и Паша Пустошкин сидели и занимались при свече.

Вместе с Голенкиным заглянул к соседям и Нерон Веленбаков, живший в этом же домике, в комнате напротив.

Гаврюша, не мешкая, стал укладываться спать. А Веленбаков плюхнулся на скамейку и, вынув из кармана флягу, поставил ее со стуком на стол.

Дети, сему учитесь,
Водки пить не страшитесь! —

пробасил он.

Нерон был немного навеселе.

Ушаков только вскинул на него свои строгие глаза и снова уг-лубился в чтение.

— Ну-ну, не коситесь, ваше преподобие! Я знаю: вы не жалуete пресной водицы. Уберу, уберу, — сказал Веленбаков, пряча флягу в карман. — Вот поговорю с Пашенькой минутку и уйду спать!

Словоохотливый Пустошкин захлопнул свою книгу и, улыб-нувшись, спросил:

¹ Плутонг — отделение.

— Откуда это вы, полуношники? И где вас только носит?!

— Вы тут просвещаетесь, а мы — пребываем в гулянии... Я с вечера пришвартовался в кабачке у двенадцати коллегий, а он, — кивнул Веленбаков на Голенкина, — сказывал, на Неве с девушками скучал. Корабельную архитектуру с ними изучал... Мы с Гаврюшей на разных курсах шли к одному рандеву у «сахарных» ворот: гуляли порознь, а через забор лезли вместе. Только он — проворней меня, а я, кажись, карман оторвал! Ишь как они расселись, — посмотрел Нерон на Ушакова и Пустошкина, сидевших на противоположных концах стола. — Федя у нас — капрал, он, конечно, на «юте»¹ сидит, а Павлуша — гардемарин, он ближе к порогу, «на баке»... Это что, у вас всегда такой порядок? — усмехнулся Веленбаков.

— Тебе, Нерон, на юте никогда не бывать. Тебе и по фамилии велено на баке: Велен-баков, — не удержался от каламбура Голенкин.

— А мне — где угодно сидеть, лишь бы с чарочкой! — согласился Нерон.

— Пожар-то сегодня у нас, на острове, видали? — спросил Пустошкин.

— А что горело? — приподнял с подушки свою курчавую голову Гаврюша.

— Горел дом у Большой Проспективной. Да не в нем дело... Наш Федя, — кивнул на Ушакова Пустошкин, — отличился: из горящего дома клетку со снегирем вынес!

— Ай да молодец! Этакий случай за две кампании считать надобно! — восхищенно сказал Веленбаков.

— И зачем было лезть? Сгореть мог бы. До производства в мичманы не дожил бы. Зря лез в огонь! — по-своему оценил Голенкин. — Ведь опасно же!

— Ничего там опасного не было, — недовольно буркнул молчавший до этого Ушаков. Он встал, аккуратно положил книгу на полку и начал раздеваться.

— Я ему тоже весь вечер говорю: лезть в огонь было не из-за чего, — продолжал Пустошкин. — Кабы в огне человек остался, я бы и сам ни минуты не раздумывал...

— Верно! Класть жизнь, так хоть знать за что! — стукнул кулаком по столу Веленбаков.

— Ну хоть бы из-за хорошенькой, — поддержал Голенкин.

— Просила-то спасти снегиря девочка, и очень миленькая, курносенькая такая! — поддел Пустошкин.

Ушаков побагрел, недовольно сверкнул глазами.

¹ Ют — кормовая часть верхней палубы.

— И что ты мелешь? Ведь она ребенок еще! — с укоризной сказал он. — По снегирию слезами заливалась. Просила!..

— Верно, девчонка годов двенадцати, не более, — поспешил уточнить Пустошкин, зная скромного и застенчивого Федю.

— Ну, этакая в счет нейдет! — согласился Голенкин. — А ты не обгорел, Федюша? — участливо спросил он.

— Нет. Только какой-то дуралей меня всего водой облил, как я выскочил из дома, — улыбнулся Ушаков.

— А признайся, Федя: все-таки страшновато было? — спросил Веленбаков..

— Ничего страшного. Это не на медведя с рогатиной, — ответил, укладываясь спать, Ушаков.

— А ты почему знаешь, как на медведя?

— Хаживал однажды, оттого и знаю.

— Ты? Когда же это успел?

— А еще как жил дома.

— Сколько же тебе годов-то было? — не переставал удивляться Нерон.

— Шестнадцать.

— Поди, прижал какого захудалого муравьятника?

— Нет, не муравьятника, а самого настоящего стервятника. След такой, что еле лаптем закроешь! Ну, ложись, Павлуша! Довольно лясы точить, — обратился Ушаков к Пустошкину.

— Феденька, расскажи, как ходил на медведя! — попросил Нерон.

— Не буду. Поздно уже. Да и ничего интересного нет! — ответил Ушаков и закрыл глаза.

— Федя, да расскажи! — не отставал Веленбаков.

Ушаков молчал.

— Экий ты, прости господи, упрямец. Чистый каприкорнус, козерог небесный! — махнул рукой раздосадованный несговорчивостью товарища Веленбаков.

Гаврюша Голенкин, улыбаясь, смотрел на них.

— Не проси, — вмешался Пустошкин. — Разве не знаешь — сказал *нет*, стало быть, не расскажет.

— А вам он рассказывал?

— Рассказывал.

— Так расскажи хоть ты!

Паша не заставил себя просить. Он не спеша раздевался и рассказывал:

— У них, в Тамбовской, медведей много. Однажды летом повадился миша на гречиху — всю полосу вытоптал. Осенью бабы за груздями ходили, он баб напугал. А потом уже зимой вот как случилось. Пошел их человек в лес за дровами. Выбрал толстую со-

сну, ударил раз, слышит, что-то под хворостом зашевелилось, запытело. У мужика и волосы дыбом: не леший ли?

— Да, да, испугался! — вставил Нерон.

— Послушал, послушал — стукнул снова. Ничего. Стукнул смелее, в третий раз. А тут сам Михайло Иваныч, словно протопоп в шубе, лезет...

— Ого-го! — заржал Нерон. — Вот нарубил дров! И что ж, ноги-то унес мужик?

— Успел. А медведь снова залез в берлогу: накануне снег выпал, замело кругом. Тогда Федя со своим деревенским старостой вдвоем и отправился. И на рогатину его, добра молодца, и поддел.

— Как же это — на рогатину? Куда же ею колоть? В живот, что ли?

— В живот! — не выдержал, расхохотался Ушаков. — Посмотрел бы я, что от тебя осталось бы, кабы ты ударил медведя ратовищем¹ в живот!

— А куда же бить?

— Известно куда: под левую лопатку! — оживился Ушаков.

— И что же медведь делает?

— Лезет вперед, на охотника. Топают вокруг него, старается достать, а охотник только держит рогатину, чтобы она упиралась в землю. Медведь кровью и изойдет.

— Но ведь он близко ж от тебя?

— Не очень далеко.

— Это ж страшно?

— А я про что и говорил!..

— Да-а! — задумчиво протянул Веленбаков. — На такое не всякий решится...

— Ну, Павлуша, гаси свечу! Уходи, Нерон: спать пора! — крикнул Ушаков, поворачиваясь к стене.

Пустошкин дунул на свечу. По комнате разлились белесоватые сумерки петербургской ночи.

— Что и говорить, храбер ты у нас, Федя! Одно слово — ухо режь, кровь не капнет! — поднялся Веленбаков.

— Храбер-храбер, а тараканов боится! — рассмеялся Голенкин. — Однажды как-то заполз к нам таракан, так Федя на стол чуть не влез!

— Э, не так было! — возмутился Ушаков.

— Это ничего! Говорят, Петр Великий тоже тараканов не переносил, а какой храбрец был! И главное — отменный моряк! Ну, спите: уже, наверное, четыре склянки пробило! — сказал, уходя, Веленбаков.

¹ Ратовище — древко рогатины.

IV

После экзаменов возвращались из Адмиралтейств-коллегии гурьбой. Возбуждение еще не улеглось, говорили все вместе:

— Мне повезло — спросили то, что я хорошо знаю, — об исправлении румбов.

— А у меня — «Может ли корабль держаться в линии баталии, если повреждена фок-мачта?»

— Ясно, не может! Ведь поворотить-то нельзя!

— Я так и ответил.

— А как этот черт кривой, Кривцов, гонял по морской практике! — вспомнил кто-то. — «Что делать, ежели вдали от порта потеялись все мачты?»

— Это разве вопросы? Вот Феде Ушакову задали — тут, брат, задумаешься!

— Федюша, что спросили? — обратились товарищи к Ушакову, который, по обыкновению, шел молча.

— Да ничего особенного, — ответил Ушаков. — «Когда звезда Сириус восходит и заходит в одно время с солнцем на петербургском горизонте и в какой широте восходит вместе со звездой Капеллою?»

— Вот это вопросец!

— Феде такой и надо: он у нас крепкий! — хлопнул его по плечу Нерон Веленбаков.

Ушаков только улыбнулся.

— Братцы, а как Нерону-то нашему нонче досталось, — рассмеялся Голенкин. — У него, бедного, даже парик на ухо съехал.

— А что?

— Определить широту места.

— Что же в этом трудного?

— Да ведь находить-то ее надо по меридианальной высоте солнца, измерять квадрантом, а он — ни в зуб!

— Как же ты, Нероша, втянулся в гавань?

— Он не сробел. Я, говорит, в шести кампаниях на море служил. Тем только и спасся.

— Веленбаков — молодец; находчив. Расскажи, Нерон, как ты приставал на шлюпке к кораблю «Тверь», — напомнил Пустошкин.

— Да-а, было дело! — самодовольно улыбаясь, почесал затылок Нерон.

— А что? Расскажи, Нерон! — тормозили его со всех сторон.

— Собственно, не о чем рассказывать. Я пошел в первое плавание. Конечно, ничего еще не знал. В Архангельске отправляет меня капитан-лейтенант на шлюпке и говорит: «Подойди, говорит, к «Твери», вахтенный передаст тебе пакет». А где она, эта «Тверь», черт знает. На рейде судов — пропасть. Я гляжу как баран на но-

вые ворота. Капитан-лейтенант смекнул, что я не найду, и решил растолковать: «Да вот тот корабль, у которого спущенные бом-брам-стенги». А я и этого — ни в зуб...

— Ах ты Нерон!

— И что же дальше?

— Отвалил я и спокойно говорю гребцам: «Давай, ребята, к тому кораблю, что со спущенными бом-брам-стенгами!» Думаю: они-то уж наверняка знают! И не ошибся... В каждом деле главное — не робеть!

— А как сегодня Курганов показывает тебе карты и спрашивает: «Которая дередюксион?» А ты ему тянешь меркаторскую! — засмеялся Голенкин.

— Ну и что ж? Курганов мне: «Это не та!» А я: «Простите, мол, Николай Гаврилович, ошибся: действительно не та». Только и всего!

— И сколько же он тебе поставил? Поди, «необстоятельно»?

— Нет, «малопорядочно». А мне и хватит!

— Ах ты Нерон — не тронь! — потешались товарищи.

Веленбаков не обижался — смеялся вместе со всеми.

— Э, к черту! Как ни отвечал, а уже — мичман! — махнул он рукой. — Кончились навсегда эти противные генеалогия, риторика, геральдика и прочие шляхетские науки! Завтра — белый мундир. Каково-то сшили? Вроде тесноват в плечах оказывался. Зато нижняя амуниция — как следует: чулки шелковые и на ботинках пряжки чистого серебра. А у тебя, Федя, — обратился он к Ушакову, — всё будут те же выростковой кожи сапоги?

— У его отца всего девятнадцать душ, не то что у тебя, — ответил за друга такой же мелкопоместный, небогатый Паша Пустошкин.

— Это верно: у меня одного больше крепостных, чем у вас обоих!

— Значит, завтра производство. Придется явиться и благодарить по начальству?

— Так и быть: поблагодарим уж в последний раз!

— Напудримся, косичку заплетем, — с удовольствием сказал шеголеватый Гаврюша Голенкин.

— Куда-то назначат в плавание? — подумал вслух Федя Калугин.

— Ну, тебе-то что? Ты у нас — первый ученик. Ведь у тебя ни одной отметки «малопорядочно», а все — «исправно», и поведения ты нарочитого, не то что мы, грешные, — сказал Веленбаков.

— А назначат как обычно: до Архангельска и обратно.

— Эх, скорее бы в море! — вырвалось у Ушакова.

— Как до моря дошли, так и Ушаков заговорил!

— И в кого ты, Федюша, у нас такой зейман?¹ — сказал Селевин. — Где у вас там, в Тамбовской, моря? Лес как море, это верно!

¹ Зейман — моряк.

— А в селе Измайлове, где царь Петр нашел ботик, — большое море? А князь Игорь откуда ходил на Царьград, забыл? — иронически спросил Ушаков. — Русские люди исстари любили корабль! Вспомните хоть бы и Ваську Буслаева с товарищами:

Походили они на червлен корабль,
Подымали тонкие паруса полотняные,
Побежали по озеру Ильменю...

V

В слякотный ноябрьский день 1768 года притащился в Петербург на подводе из Ранбова, как называли моряки Ораниенбаум, мичман Федор Ушаков.

Два с лишним года он проплавал в Балтийском и Белом морях и вот снова ступил на землю. Ушаков получил перевод на Дон.

Русский народ решил отвоевать свои исконные земли на берегах Черного моря, укрепить и обезопасить южные границы государства от набегов турок и крымских татар.

Россия возродила флот, захиревший после смерти Петра Великого.

Сухопутная армия была на юге готова, а флота у России недоставало.

Стремление России усилить свое положение на юге не нравилось Англии, Франции и другим европейским государствам. В 1768 году они вынудили турок объявить России войну.

Турция обладала на Черном море сильным флотом. Она в течение нескольких веков чувствовала себя здесь господином положения.

Воевать с Турцией на Черноморском побережье без флота было бы русским очень трудно. Оправдывались знаменитые слова Петра Первого: «Всякий Потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

Россия имела на юге пока что лишь одну руку. Необходимо было дать ей вторую: построить флот.

И конечно, прежде всего вспомнили о старых петровских верфях в Воронеже и на Дону, тем более что близ Воронежа было много прекрасного корабельного теса.

Постройку Азовской флотилии Екатерина II поручила одному из лучших моряков, сыну известного петровского адмирала Наума Сенявина, Алексею Наумовичу Сенявину.

Из Подмосковья на Дон отправили три тысячи мастеровых. Адмиралтейств-коллегия готовила чертежи судов с большей осадкой. Восстанавливали укрепления Азова и Таганрога. Спешно исправляли верфи в Ново-Павловске и Новохоперске.

Из Кронштадта через Петербург потянулись на юг подводы с офицерами, матросами и корабельными мастерами. В числе откомандированных на Дон оказался и мичман Ушаков.

Когда он наконец дотащился к Адмиралтейств-коллегий, шел шестой час пополудни. В канцеляриях уже никого не было. И Ушаков, взяв свой небольшой чемоданчик, пошел по старой памяти на Васильевский: надо же было найти ночлег.

Сойдя с моста, он встретил на набережной боцмана Лукича.

— А-а, с благополучным прибытием! — шумно приветствовал его боцман. — Откуда?

— С «Трех иерархов». Направляют куда-то на юг.

— Сейчас много туда едет. Наши мичманы тоже...

— Кто? — нетерпеливо перебил Ушаков.

— Пустошкин, Веленбаков...

— Не знаешь, Лукич, где они остановились?

— Как не знаю?! У Большой Проспективной и Двенадцатой линии. Вон новый дом, крашенный под кирпич.

— Спасибо, брат!

Ушаков больше не расспрашивал, а Лукич не задерживал его: боцман отлично помнил, что мичман Ушаков не пьет, стало быть, какой с ним разговор.

Ушаков сразу нашел дом, о котором говорил Лукич. Он был обшит тесом, побелен и раскрашен. Издали и впрямь можно было подумать, что дом — из кирпича.

Федя вошел на крыльцо, постучал.

Открыла старуха.

— Здравствуйте, бабушка. У вас моряки остановились?

— Здесь, здесь, входите, — приветливо ответила старуха, пропуская Федю в сени. — Извольте, батюшка, вот сюда, — открыла она дверь.

Ушаков шагнул в комнату.

Первый, кого он увидел, был Паша Пустошкин. Паша без мундира стоял посреди комнаты, курил и что-то говорил, — Пустошкин любил побеседовать. Был он все такой же полный, высокий, румяный. За ним у стола, на котором стоял полуштоф и лежала закуска, сидел пучеглазый Нерон Веленбаков.

— Здравия желаю, господа мичманы! — весело приветствовал Ушаков, ставя чемодан в угол.

— А-а, Федя, дружок, здорово! — пробасил, вставая, бывший немного под хмельком Нерон.

— Здравствуй, Феденька! Вот не ждали! — кинулся к нему чувствительный Паша Пустошкин.

Товарищи обнялись.

— Ты что, из Ранбова? — спросил Пустошкин.

— А откуда же ему и быть-то? Конечно, оттуда, — ответил за товарища Веленбаков.

— На Дон? — продолжал спрашивать Паша.

— На Дон, — ответил Ушаков. — А вы?

— И мы туда же.

— А куда именно?

— В Воронеж.

— В какое-то место меня назначат? — задумался Федя.

— Сейчас, брат, у всех один курс — Воронеж. Завтра в Адмиралтейств-коллегии получишь ордер, а послезавтра поедем вместе. Отправляется очередная партия, — объяснял Пустошкин.

— Вот и хорошо! — обрадовался Ушаков.

— Знаешь, Паша, я схожу еще за полштофом — согреться господину мичману с дорожки, — предложил Нерон.

— Нет, нет, я не буду пить! — схватил его своими крепкими руками Ушаков и усадил на скамейку.

— Сиди, Нерон. На сегодня довольно! — прикрикнул Пустошкин. — Ведь завтра поутру являться в Адмиралтейств-коллегию, аль забыл? Вот сейчас хозяйка самовар принесет.

— Экое питье — чай!..

— А я чайку выпью с удовольствием, — сказал Федя, садясь за стол.

— Эх вы, моряки! — безнадежно махнул рукой Нерон.

— Ты, Паша, раздобрел, я вижу. А Нерон — все такой же, — разглядывал товарищей Ушаков.

— Ты тоже не похудел! — хлопнул его по плечу Пустошкин. — Ну, где плавал? На чем? Под чьей командой? — забросал он вопросами.

— Разве забыл? Он ведь ушел тогда в Архангельск на пинке¹ «Наргин», — напомнил Веленбаков.

— И на нем вернулся назад. А с нынешнего, шестьдесят восьмого года, на «Трех иерархах».

— На этих «Трах-тарарах», как называют матросы? У капитана первого ранга Грейга?

— Да, у Самуила Карловича.

— Хороший у тебя был начальник, — позавидовал Пустошкин.

— А вы где?

— Я у капитана Наумова, — тотчас же завладел разговором словоохотливый Пустошкин. — Смешной дядя. Думает, что — лихой служака: шляпу и ту, как говорится, носит параллельно горизонту. И знает одно — как выйдет из каюты, обязательно кричит: «Право руля!» Хоть бы и вовсе в этом нужды не было. Считает себя

¹ Пинк — небольшое транспортное судно.

морским волком. Даже на берегу все называет не иначе, как по-морски; коляска у него «барказ», линейка — «катер», дрожки — «шлюпка». А на судне любит держать фор-брам-стенгу, она у него так постоянно и торчит. Этакий капитан немногому научит!

— Ну, ты сам, Пашенька, неплохо дело знаешь! А где Нерон был? — обернулся к Веленбакову Федя.

— Я, брат, плавал на фрегате «Диана». Не «Диана», а чистый верблюд. Нос и корма у нее подняты, а середина провалилась. Шканцы и бак выше шкафута на целую ступеньку. А когда на ростры подымут гребные суда, фрегат точь-в-точь верблюд. Капитан «Дианы» Козлов — ничего. Только больно худ, ровно скелет из рисовальной преислеровской анатомии, что мы когда-то в корпусе учили. Но хитер как бес! Явился я к нему, а он сразу: «Которым, сударь мой, выпущены из корпуса?» А как мне признаться, что вышел я пятьдесят осмым, что за мной остался только Сенька Трусов? Отвечаю: «Тридцать седьмым, ваше высокоблагородие! Последний год весь проболел». — «А сколько всего выпущено?» — «Пятьдесят девять», — отвечаю. «Ладно, — говорит, — служи исправно, человеком будешь! Деньги, — спрашивает, — имеешь?» — «Никак нет, ваше высокоблагородие!» И как он узнал, что у меня один целковый в кармане? «Ну, не бойся, дадим вперед!» Сам выбрал мне вестового и показывает ему кулак: «Держи ухо остро да береги спину! Ежели барин попадет у тебя в кутеж или в картеж, я те пятьсот всыплю! Вишь, молод еще, оберегать надо!» Вот догадливый, черт!

— Легко ему быть догадливым, ежели от тебя, поди, за кабельтов¹ винищем разило! — улыбнулся Паша.

— А вот и не разило. И никогда не разит: я всегда чесночком закусываю!

В это время хозяйка внесла в комнату самовар. Паша Пустошкин засуетился, стал разливать чай, достал из чемодана колбасу и хлеб.

«Все такой же — любит поговорить и угостить», — подумал о товарище Ушаков.

Как только принялись за чай, Пустошкин снова овладел разговором:

— Федюша, а помнишь, как мы вчетвером — я, ты, Гаврюша, Нерон, — бывало, ходили в баню на пустырь у Шестнадцатой линии? Напаримся-нажаримся — и в снег: кто дольше пролежит, тому бутылка меду с остальных. Нерон, черт, лежал дольше всех. Ты-то в наш спор не встревал, а только помню, что и тебя раз подзадо-

¹ Кабельтов — морская мера длины, равен 185,2 метра.

рили. Говоришь: никакого меду мне не надо, а пролежу дольше вас всех! И пролежал. Помнишь, Нерон? — смеялся Паша.

— Как же, помню!

— Ну, нашел что вспоминать! — отмахнулся Ушаков. — А не знаете, где Гаврюша?

— Он на Балтийском. Командует гальботом¹ «Стрельна».

— Батюшка, к вам пришли, — просунула голову в дверь хозяйка.

— Кто там, пусть входит! — сказал, выглядывая из-за самовара, румяный Паша Пустошкин.

В комнату вошла девушка лет пятнадцати.

Несмотря на то что она очутилась с глазу на глаз с тремя молодыми моряками, девушка нисколько не смутилась.

Кутаясь в платок, накинутый поверх шубки, она приветливо улыбалась:

— Здравствуйте! Мне сказывали, что кто-то из вас поедет в Воронеж.

— Мы все поедем, — ответил, подымаясь, Пустошкин.

За ним поднялись остальные.

— Я хочу просить, чтобы вы передали моей маменьке письмо. Она живет в Воронеже.

— Охотно передадим, — ответил Пустошкин.

— Лучше поедемте вместе с нами, — предложил Веленбаков, — веселее будет!

— Я поеду, когда установится санный путь.

— Ну, так мы будем встречать вас в Воронеже, — улыбнулся Паша. — Давайте письмецо!

— Я еще не написала. Я завтра напишу. Может быть, кто-нибудь из вас зайдет за ним?

— Выбирайте любого из троих, — пошутил Нерон.

Девушка обвела всех глазами.

— Я прошу вас. Вы ведь тоже поедете? — обратилась она к Ушакову.

Федя стоял красный от смущения и неожиданности. Он уже давно узнал девушку: это была та, которой он спас снегиря.

Она выросла и повзрослела. Ее курносое личико было миловидно. А когда девушка улыбалась, то открывался ровный ряд белоснежных зубов. И эта улыбка озаряла все ее лицо.

— Поеду, — смущенно выдавил Федя.

— Я вас помню, сразу узнала, — улыбнулась девушка. — Выйдемте, я вам покажу, где сейчас живет моя тетушка. Тот дом — сгорел.

И она пошла из комнаты.

Федя волей-неволей должен был следовать за ней.

¹ Гальбот — плоскодонное транспортное судно.

На крыльце девушка остановилась:

— Вон видите домик, где растет береза? Там живет моя тетушка. А вас я запомнила. Я даже видела вас несколько раз во сне, — сказала она и, светло улыбнувшись, сбежала с крыльца.

Ушаков вернулся в комнату еще более смущенный. Он старался не смотреть товарищам в глаза.

— А девушка-то ничего: стройная, легкая, словно гичка! Ай да Федя! — попробовал было пошутить Веленбаков, но Ушаков так покосился на него, что Нерон сразу умолк.

VI

В Адмиралтейств-коллегий Ушакову подтвердили, что он тоже назначен в Азовскую экспедицию, под начальство вице-адмирала Алексея Наумовича Сенявина, и должен отправляться в Воронеж завтра поутру.

Погода стояла отвратительная — моросил дождь, и Ушаков пошел из Адмиралтейств-коллегий прямо на квартиру.

Пустошкина и Веленбакова дома не оказалось.

Сегодня целый день у Феди не выходила из головы эта милая, улыбчивая девушка.

В тамбовском детстве у Феди все друзья-приятели были мальчишки. За шесть лет учения в Петербурге Ушаков не свел знакомства ни с одной девушкой, и в корпусе его за это прозвали схимником. А тут, первый раз в жизни, он говорил с девушкой, которая, оказывается, помнит его и даже видит во сне. От всего этого сладко закружилась голова.

«Пойду-ка я за письмом, пока нет этих пересмешников», — вдруг подумал Федя и поскорее шмыгнул из дому.

На крыльце он оглянулся — не смотрит ли кто, но Двенадцатая линия была пуста.

Только с Десятой, где был кабак, брели через пустыри два подгулявших матроса, и один из них куражился и орал:

Из-за Волги кума
В решетке приплыла,
Веретенами гребла,
Юбкой парусила...

Ушаков быстро перешел улицу к домику с березой. Уже постучав в дверь, он вспомнил, что не знает ни имени, ни фамилии девушки.

Открыла высокая пожилая женщина, которую Федя видел в тот раз на пожаре.

«Верно, ее тетушка!»

— Вы за письмом? — спросила она.

— Точно так! — пересохшим от волнения, глухим голосом ответил Ушаков.

Он несколько похрабрел — такое начало было ему на руку: выходит, что Федя пришел по делу, а не вроде кавалера. Он хуже всего боялся, чтобы так не подумали о нем.

— Пожалуйте, пожалуйста! — ввела его тетушка в небольшую, скромно обставленную, но чистую комнату. — Садитесь. Любушка сейчас придет — она пошла в сарай за дровами.

«Ага, значит, ее зовут Любушкой», — приметил Ушаков.

— Непоседа-девчонка, егоза. Собиралась побыть у меня до весны, а вчера вдруг услышала, что моряки отправляются в Воронеж, загорелась: поеду и я домой! Побежала узнавать, кто едет. Другая бы постеснялась говорить с незнакомыми, а этой — нипочем. Она с любым человеком запросто говорит. Я вон старая, а так не могу. Это она в отца пошла такая простая да ласковая. Тот, бывало, с первым встречным говорит, будто десять лет его знает. А письмо-то у Любушки еще не готово, — улыбаясь, закончила вполголоса тетушка.

В это время в соседней комнате послышался стук брошенных на пол дров.

— Любушка, пришли за письмом, — сказала тетушка, входя к ней в комнату.

В дверь просунулась голова со вздернутым носиком и быстрыми голубыми глазами.

— А-а, это вы? Я сейчас! — весело и просто сказала она и скрылась.

Федя сидел красный: все-таки он не мог побороть смущения, — как это он будет сидеть один с девушкой, словно жених или кавалер.

Через минуту в комнату впорхнула Любушка:

— Здравствуйте! Как вас величать?

— Федор Федорович Ушаков.

— Здравствуйте, Федор Федорович! Молодец, что пришли! А вот письмо-то у меня еще не готово... И я не знаю, может, и не буду его вовсе писать... — улыбаясь, сказала она и взглянула на Ушакова.

У Феде упало сердце: «Передумала, не поедет...»

— Вы что, разве не поедете в Воронеж? — испуганно спросил он.

— А вы хотите, чтобы я поехала?

— Хочу! — вырвалось у Феде.

— Я поеду. Только не знаю когда... — смеялась Любушка.

— Вы же говорили: по санному пути... Скоро должна установиться зимняя дорога.

— У нас, в Воронеже, санный путь — с Николина дня.

— Вот и поезжайте!

— Я и хочу — на Николу.

— А с кем вы поедете?

— В Воронеж часто ездят на верфь. У тетеньки есть знакомый подрядчик. Вы в Воронеже были?

— Нет. Хороший город?

— Хороший. Весь на горах. Обрывы, обрывы! Белые мазанки и ветряки. Красиво! А небо какое у нас — синее, глубокое!

— Ничего хорошего там нет. Дома на горе, а воду таскай из реки. А летом — ветры и ветры. Пыль — свету Божьего не видно! — вмешалась тетушка, входя в комнату.

— Да что вы, тетушка Настасья! Разве Питер лучше? Одно болото да вечная слякоть.

— А давно ли сама восхищалась: «Ах, белые ночи! Ах, Петербург!»

— Тогда нравился, а вот теперь уже пригляделась к нему! — тряхнула она русой косой.

Ушаков присидел у Настасьи Никитишны дотемна.

За чаем тетушка спросила мичмана о его родителях.

Федя ответил, что старик отец еще жив, а мать умерла давно, когда ему было восемь лет.

— Значит, росли сиротой, — пожалела Настасья Никитишна. — А откуда же вы родом?

— Из Тамбовской.

— Так вы наш сосед! — обрадовалась Любушка. — От Воронежа до Тамбова рукой подать!

— Я не из самого Тамбова, а из Темниковского уезда. Там у нас деревенька. Алексеевка.

— А почему поступили в морской корпус, а не в сухопутный? — полюбопытствовала тетушка.

— Сухопутный не по карману: у отца всего-навсего девятнадцать душ, — просто ответил Ушаков.

Он никогда не стыдился того, что его отец небогат.

— Морским офицером лучше быть, чем сухопутным. Что берег? Грязь, пыль. А в море волны, ветер, простор! — убежденно сказала Любушка.

Федя даже покраснел от удовольствия.

— Да, я тоже очень люблю море! — признался он.

Тут же, за чайным столом, Любушка в конце концов написала матери письмо и стала объяснять Феде, как найти в Воронеже дом, где они живут.

— Вот город, на горе. Так — Нишенская слободка, так — Стрелецкий лог, так — Гусиная слободка, — чертила она пальцем по скатерти. — А так — наша Чижовка, ближняя и дальняя. Когда-то в ней водилось много чижей. Вот церковь Троицы, слева большой

дом — в нем живут попы, дьякон Калистрат, пономарь. А справа — маленький, это и есть наш. Понятно?

— Понятно, — отвечал Федя, а думал только об одном: поскорее бы эта белозубая девушка приезжала в Воронеж!

— А вот тут, — не переставала Любушка чертить пальцем, — Чижовская роща. Дубы, дубы и дубы. И клены. Красиво! Сюда мы с вами пойдем весной гулять. Хорошо?

— Хорошо, — ответил Федя, а сам подумал: «Одно плохо — пора уходить, а так не хочется!..»

Он поднялся и стал прощаться.

— Ежели когда-либо приедете в Петербург и негде будет остановиться, милости просим ко мне! — гостеприимно предложила тетушка.

— Спасибо! — поблагодарил Федя уходя.

Любушка провожала его.

— Скажите, Любушка, а вы... в самом деле приедете? — спросил он, уже стоя на крыльце.

— При-и-еду! — улыбаясь, протянула она, и Феде почудилось в этом слове: «ми-и-луй...»

Он спрыгнул с крыльца и, не разбирая в темноте луж, зашагал через улицу к себе.

VII

Незаметно промелькнула неделя, как Ушаков приехал в Воронеж, а письмо Любушки все еще продолжало лежать в Федином чемодане.

Он был исполнителен и верен в своем слове, но не хватало времени. В адмиралтействе всем нашлось много дела. Пустошкин работал на постройке мастерских, а Ушакова определили в чертежную.

Когда-то, при Петре I, весь Воронеж был заполнен моряками. Целые улицы занимали корабельные мастера: шлюпочные, парусные, блочные, канатные, купорные. Жили плотники, кузнецы, литейщики. В Воронеже лили пушки, мортиры, ядра, варили смолу, гнали деготь, вили канаты и веревки.

После смерти Петра I все пришло в упадок. Мастерские обветшали или стояли заколоченные. Мастера перемерли или разъехались по другим местам. И многое приходилось начинать сызнова. Оттого теперь у всех — матросов и офицеров — было достаточно работы.

Федя приходил вечером на квартиру усталый. Он видел чемодан, в котором лежало письмо, терзался мыслью, что поручение Любушки до сих пор им не выполнено.

Ушаков каждый день невольно наблюдал за погодой: снежок понемногу укрывал землю.

Иногда, сидя у себя в чертежной и обсуждая с товарищами качество кораблей разной постройки, он говорил что-либо вроде:

— Архангельские хуже петербургских: в бейдевинд¹ имеют большой дрейф.

А сам в это время смотрел в окно на падающий снег и думал с тревогой: «Может, уже приехала?»

И невольно краснел.

Во-первых, от мысли, что он не сдержал слова, а во-вторых, от того, что было приятно представить: Любушка уже в Воронеже!

Паша Пустошкин, который жил с ним (Нерона Веленбакова послали в Таганрог), пытался было навести разговор на интересующую тему, но прямо о девушке говорить не смел. Живя не первый год с Ушаковым, он знал, что Федя рассердится и сразу оборвет разговор. Он такой: нашел — молчит, потерял — молчит. И потому Пустошкин старался говорить обиняком:

— А уже санная дорога установилась. Вчера из Москвы констапель² приехал...

Но Федя упорно молчал, хотя прекрасно понимал, к чему клонит Паша, и хотя этот разговор был ему приятен.

Паша втихомолку наблюдал за другом.

Подошла суббота.

Вечером в чертежной, как и в других командах, был прочтен приказ:

«Завтрашнего числа для праздника воскресенья адмиралтейским служителям шабаш, чтоб Богу молились, гуляли тихо и смиренно, шумства, драк и прочих непотребств не чинить».

Федя слушал и думал: «Завтра отнесу письмо».

Он утром попросил у соседа, корабельного мастера, бритву и побрился, хотя льняной пушок на щеках был мало заметен.

Потом не мог дожидаться обеда. От скуки листал «Регламент о управлении адмиралтейства и верфи».

Паша, любивший пошутить, не выдержал и сказал:

— Не смотри: все равно по параграфу семьдесят седьмому гардемарину жениться запрещается. Не то — дадут три года каторжной работы!

Федя вспыхнул до корней волос и только глянул на него, как рублем подарил! Паше и этого хватило — сразу умолк. Так молча и обедали.

После обеда Федя оделся получше, достал из чемодана письмецо и, стараясь не смотреть Паше в глаза, шмыгнул за дверь.

¹ Бейдевинд — курс корабля, самый близкий к линии ветра.

² Констапель — артиллерийский прапорщик.

Адрес он помнил наизусть: «Марии Никитишне Ермаковой у Троицкой церкви, что на Чижовке». За эти дни он узнал, что Чижовка — слободка на горе, предместье Воронежа, которое от города отделяет крутой яр.

«Хорошо, что дом — у церкви. Значит, легко найти, не придется ни у кого спрашивать».

Войдя в слободку, Федя вспомнил: здесь когда-то водилось много чижей. «Не оттого ли и она держала в клетке снегиря? Любит птиц, значит, доброе сердце!..»

Он захотел представить себе ее лицо и не мог: оно как-то уплывало. И лишь не потухала, жила в его памяти широкая, светлая Любушкина улыбка.

Вот и церковь Троицы. Вон один дом деревянный — побольше, другой — маленький, весь белый, крытый очеретом.

Ох как бьется сердце!

Ушаков еще издали разогнался — для храбрости! — и бодро подошел к домику.

Он постучал и ждал, насупившись.

Дверь открыла высокая седая женщина. Хотя глаза у нее были карие, а нос прямой, но ее лицо чем-то напоминало Любушкино.

«Мать!»

— Входите, входите! — приветливо сказала она, отступая в глубь сеней.

Ушаков вошел.

— Честь имею видеть Марью Никитишну Ермакову? — официально спросил Федя.

— Да, это я, — сказала женщина.

— Вам письмо из Петербурга. От дочери.

Он протянул конверт.

— От Любушки? Когда же она приедет?

— Сказывала: по первопутку.

— Пожалуйте сюда, господин мичман. Милости прошу. — Марья Никитишна распахнула дверь в комнату. — Раздевайтесь, у нас тепло, — предложила она.

Поначалу Ушаков думал отдать письмо и сразу же уйти, но сейчас что-то удерживало его здесь. Он снял шинель и шляпу.

— Садитесь! — предложила хозяйка, усаживаясь у стола.

Федя сел.

— Мы ведь тоже из морской семьи. Мою мать в тысяча семьсот первом году по велению царя Петра отправили сюда. Каждый десятый двор должен был поставить одну девицу для вступления в брак с солдатами, а остальные дворы — снабдить ее всем необходимым. И кроме того, дать двадцать рублей приданого. Вот она и вышла замуж за моряка. И мой покойный муж тоже был моряк, — словоохотливо рассказывала Марья Никитишна.

Она оказалась более разговорчивой, чем ее сестра, Настасья Никитишна, и держалась так, что Феде казалось, будто он давным-давно знает ее.

— А вы когда же познакомились с Любушкой?

Федя зарделся. Говорить о том, как он спас снегиря, не хотелось.

— Верно, где-либо в церкви, — улыбнулась Марья Никитишна, — или на гулянье. Вот у нас, в роще, с мая месяца по воскресеньям гулянье... Что, Любушка здорова?

— Ничего, здорова. Я ее всего два раза видел... Я с Балтийского... Меня отправили сюда. Ехал, остановился на Васильевском острове...

— Да, там живет моя старшая сестра, Настасья. Домик-то у нее в третьем годе сгорел...

Ушакову хотелось сказать: знаю, сам видел, но — смолчал.

— Вас как же звать?

— Федор Ушаков.

— Я уж Феденькой стану звать, по-стариковски. Вот я вас пирогом с капустой угощу, — поднялась Марья Никитишна.

Ушаков не отказывался: он чувствовал себя здесь просто и хорошо. И главное, можно свободно говорить о Любушке — это же не с насмешником Пашкой Пустошкиным: не засмеет!

Марья Никитишна поставила пироги, флягу с водкой, угощала.

От водки Ушаков отказался — он не любил пить.

— Одну-единственную. В вашем морском деле — надо. Пьяницей быть — сохрани Господи, а придешь с вахты мокрехонький, водкой только и отогрешься и спасешься! — уговаривала хозяйка. — Первая рюмка и называется «прошенная», а вторая уже — «непрошенная»!

Пришлось выпить «прошеную» и закусить пирогом, — пироги были отменные.

Марья Никитишна расспросила его обо всем: откуда родом, сколько имеет душ крепостных, где и на чем плавал. В морском деле она разбиралась словно заправский моряк.

В беседе Ушаков не заметил, как заблаговестили к вечерне. Он хотел уже прощаться, когда в комнату вошел высокий красивый человек. Федя сразу признал: это был грек. Грек учтиво поздоровался, пожелал «приятно кушать» и прошел в соседнюю комнату, о которой Федя почему-то думал, что она Любушкина...

— Это мой постоялец, — зашептала через стол Марья Никитишна. — Павел Зосимович Метакса. Грек. Он поставщик в адмиралтействе. Гарпиус поставляет. Хороший, богатый человек...

У Феде почему-то сразу испортилось настроение. Румянец покрыл его щеки. Он сидел, сдвинув свои густые брови. И все его ли-

цо — с тяжелым, выступающим подбородком — стало старше и суровее.

Корпусные товарищи увидали бы: Федюша чем-то сильно недоволен. Такого лучше не трогать!

Он поднялся, поблагодарил за угощение и стал одеваться.

— Еще раз спасибо, родной! Спасибо, сынок! — говорила на прощанье Марья Никитишна. — Приходи же, Феденька. Вот Любушка приедет, — пела она. — Пишет: к Николину дню постарается...

Ушаков шел, невольно высчитывая в уме, сколько дней осталось до зимнего никола.

Грек очень не нравился Феде, хотя ничего худого о нем Ушаков сказать не мог.

VIII

Ушакова все больше и больше захватывала новая для него работа в адмиралтействе.

Приятно было сознавать, что принимаешь непосредственное участие в постройке Азовского флота, что по твоему чертежу будут строить отдельные члены судна. Не то что Паша Пустошкин, который занят такой малоинтересной, обычной, чуть ли не деревенской работой: стройкой кузниц, шлюпочных мастерских да разных сараев. Но Паша Пустошкин рьяно отстаивал свое дело.

— Посмотрел бы я, как ты на своем праме¹ обошелся бы без моего якоря или без шлюпки! — возражал он Феде.

Занятый работой, Ушаков не заметил, как подошел долгожданный Николин день.

Федя не знал, что делать: хотелось проведать, приехала ли Любушка, но идти к Ермаковой без дела было как-то стыдно.

Он ломал голову — что бы придумать! И наконец нашел простой выход: пойти к обедне в их слободскую церковь, — если Любушка в Воронеже, она обязательно должна прийти к Троице.

Федя приделся и зашагал в Чижовку.

Войдя в церковь, он сразу же увидел на левой стороне среди женщин высокую Марью Никитишну. Рядом с ней стояла Любушка.

Ушаков прошел немного вперед и стал на виду. Ему так хотелось посмотреть назад, но это было неприлично.

Он терпеливо простоял до конца службы и, только когда все двинулись ко кресту, обернулся.

Ушаков пристально рассматривал толпу, теснившуюся к священнику с крестом, но Ермаковых не было. Раздосадованный, Федя пошел к выходу.

¹ Пра м — плоскодонное судно, вооруженное пушками.

Выйдя на паперть, он стоял, растерянно смотря по сторонам.

Вдруг кто-то легонько взял его за локоть. Он зло повернул голову, думая, что это какой-нибудь назойливый нищий, и оторопел: перед ним, улыбаясь, стояла Любушка.

— Здравствуйте, Феденька! Кого это вы ищите? Не меня ли?

Он хотел было отпереться, что, мол, не искал ее, но это не вышло.

— Здравия желаю! — с живостью ответил он.

— Пойдемте же к нам, чего тут стоять! — потащила его Любушка сквозь строй нищих и калек.

Пришли к Ермаковым. Любушка сняла шубку и упорхнула на кухню помогать матери накрывать на стол, приказав Феде немножко обождать, лукаво прибавив:

— И не скучать!

Ушаков смиренхонько сидел у печки. Он чувствовал бы себя счастливым, если бы не эта проклятая дверь в соседнюю комнату... Прислушивался: дома ли грек?

Вошли Марья Никитишна и Любушка с посудой и пирогами.

Хозяйка подошла к небольшому шкапику и, открывая дверку, обернулась к Ушакову:

— Феденька, а водочки выпьем?

— Нет, благодарствую, не надо! — замахал руками Ушаков.

— А в прошлый раз ведь пил! — насмешливо глянула через плечо Любушка. — Я все знаю!

— Быль молодцу не укор! — выручила Марья Никитишна. — Не хотите — неволить не стану!

Сели за стол.

Любушка рассказывала о том, как жила в Петербурге, как ехала до Воронежа.

Потом мать ушла на кухню убирать посуду, а Федя остался с Любушкой. Она упросила его рассказать, как он тогда спасал снегиря.

Ушаков нехотя повиновался.

— Спасли, Феденька, зря: все равно снегиря негодяй кот съел! — вспомнила Любушка.

На кухне послышались голоса. Марья Никитишна уговаривала кого-то откусать пирога, а мужской голос благодарил, но отказывался.

В комнату вошел Метакса. Он поклонился Ушакову и прошел к себе, закрыв дверь.

— Что, постоялец еще у вас? — спросил, заливаясь румянцем, Федя.

— А ну его! — махнула рукой Любушка и зашептала: — Он старый — ему уже тридцать лет!

Над Федей вновь засияло солнце...

Метакса пробыл у себя не больше пяти минут и снова ушел.

Весь вечер они провели втроем. Пили чай, а потом Марья Никитишна вязала, а Любушка играла с Федей в свои козыри и носки.

Было весело. Когда Федя проигрывал, озорная Любушка щелкала его по носу картами и заливалась смехом.

Наконец настало время уходить. Любушка провожала его до двери.

— Приходите в следующее воскресенье! Мне скучно одной! — сказала девушка на прощанье.

— Приду! — с радостью ответил Федя.

Дул пронзительный ветер, в лицо било снегом, но Федя не чувствовал холода. К себе в комнату он вошел напевая.

— Ого, какой веселый! Да ты, Федя, никак первый раз в жизни выпил! — рассмеялся Паша, при свече пришивающий пуговицы к бострогу¹.

— А если б и выпил, Пашенька!

Он обнял друга за плечи и так сдал, что Пустошкин крикнул:

— Пусти, тамбовский медведь!

Когда в следующее воскресенье Ушаков собирался уходить, Паша, осмелев, спросил:

— Куда? Снова к ней?

— На кудыкину гору! — отшутился Федя и помчался в милую слободку. Дверь ему открыла сама любезная, льстивая Марья Никитишна.

— А, Феденька, деточка! — запела она, увидев мичмана. — Как раз на чаек. Милости просим!

Федя разделся, вошел в знакомую комнату и остолбенел: за столом сидел с Любушкой грек Метакса.

Ушаков стал мрачным и неразговорчивым. Ему было противно, что Марья Никитишна и Любушка ласковы с этим черноглазым красивым греком, что Любушка весело смеется и шутит.

Феде казалось, что на него не обращают внимания, обходятся с ним как с малым ребенком.

После чая девушка принесла карты, но Федя не остался играть, сказав, что завтра чем свет уезжает на неделю в Таврово.

— Вернетесь — приходите, не забывайте нас, — говорила в дверях Марья Никитишна, провожая гостя.

Ушаков ничего не ответил. Он только сжал челюсти и подумал: «Как же, ожидайте. Приду!»

Эту неделю Ушаков работал с остервенением.

Пришло воскресенье.

¹ Бострог — мундир.

В последнее время Федя по воскресеньям вставал рано, а теперь отзвонили к обедне, а он еще лежал. Лежал и думал все о том же — о женском коварстве...

Пустошкин уже ушел в город к знакомым, когда Ушаков встал. Подмывало пойти к Ермаковым, но он все-таки остался дома.

До обеда он рисовал фрегат, а вечером достал из сундука маленький томик Сумарокова. Федя любил эти притчи, где так легко текут слова:

Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу...

где стихи о моряхах:

Встала буря, ветры дуют,
Тучи помрачили свет...

Он листал знакомые страницы, а глаза сегодня ловили иные строчки:

Изображает ясно
То пламень во крови
Тово, кто ждет напрасно
Взаимный любви:
Прохожева обманет
Текущая вода,
Тово любить не станет
Ириса никогда.

IX

В середине следующей недели Ушакова взаправду отправили в Таврово с чертежами новых прамов.

Не хотелось уезжать из Воронежа, но ехал он со странным удовлетворением: как будто кому-то назло. А очутившись в Таврове, не мог дождаться, когда разделается со своим поручением.

В Воронеж он вернулся только в понедельник.

Паша Пустошкин сидел дома — чертил.

— Федя, а о тебе тут беспокоились, — ехидно сказал Паша.

— Кто?

— Прибегала Любушка, спрашивала: почему, мол, Феденька не приходит? Здоров ли?

— Да ну, брось шутить! — нахмурился Ушаков.

— Ей-ей, не шучу! Прибегала!

— Давно?

— В пятницу.

Ушаков посветлел.

Эта неделя тянулась у него дольше всех других: не мог дожидаться конца. В воскресенье утром пошел знакомой дорогой в милую Чижовку. Шел, полный обиды. Шел не торопясь, но в то же время хотелось скорее-скорее...

Открыла сама Любушка:

— Феденька, голубчик! Пришел!

Она кинулась к нему и неожиданно поцеловала в холодную щеку.

Ушаков окончательно опешил.

Любушка тормозила его, стащила с него шинель, повела в комнату.

Ушаков сразу заметил: дверь в комнату постояльца была раскрыта настежь.

— Грек дома? — насупился он.

Любушка залилась смехом.

— Что ты?

— Из-за грека-то и не приходил? Да?

Федя только потирал холодные руки, молчал, подозрительно озираясь.

— Глупенький, да он мне противен! Понимаешь: про-отивен!

И он уехал!

— Куда?

— В Азов.

— Совсем?

— Совсем!

Федя кинулся к ней.

— Пусти! Мама! — с притворным испугом зашептала она, кивая на дверь.

Ее большие глаза стали еще больше.

Федя отпустил ее и оглянулся.

Любушка отбежала за стол и, выпячивая свои полные губы, протянула:

— Тру-ус! Мамы нет, ушла к протопопше. Мы одни в доме. Тру-ус!

Ушаков шагнул к столу. Их разделяла только столешница.

Любушка стояла против него, покрасневшая, похорошевшая. Она дразнила, высунув язык.

Ушаков увидал: у Любушки на конце языка — небольшая ямка.

— Чего смотришь? Язык раздвоен? Как у змеи. Не бойся — это меня в детстве нянька кашей так накормила. Сунула в рот ложку горячей каши, а сама убежала. И сожгла мне язык...

Федя через стол ловко схватил ее за руку...

До весны было еще три месяца, но у Феди Ушакова она расцвела уже в январе.

X

В напряженной каждодневной работе мелькали похожие друг на друга дни. Зима пролетела незаметно: была она «сиротская» и не успела наесть ни снегами, ни морозами.

В марте вскрылась река. И сразу прибавилось работы: отправляли припасы, вооружение и снаряжение для судов, которые строились на верфях в Таврове, Павловске, Икорце и Хопре.

От зари и до зари, не умолкая, стучали плотничьи топоры. Не потухали литейные печи, кузнечные горны, курились смолокурни.

Сенявин деятельно готовил Азовскую флотилию.

Присланных из Петербурга мичманов отправляли дальше, к Азовскому морю. Пустошкин уехал на Икорецкую верфь, Ушаков остался один. Ждал, что не сегодня завтра и его отправят куда-либо.

Каждое воскресенье Федя ходил по знакомой дороге в Чижовку.

Марья Никитишна уже в глаза называла его «зятек», ласково обнимала, потчевала, как могла, и все спрашивала, когда Ушакова произведут в лейтенанты и сколько он тогда будет получать жалованья.

Федя и сам думал жениться на Любушке.

Вся его прошлая жизнь — корпус, флот — прошла среди мужчин. Он любил море, флотскую суровую жизнь, готовился к ней и не представлял, как живут семейные моряки. Но без Любушки ему было тоскливо, тянуло к ней. Как ни был он занят, а всегда помнил о Любушке.

И Федя тоже говорил ей:

— Вот произведут в лейтенанты...

— Не говори заранее. Произведут, тогда то и будет! — обрывала Любушка и тащила Федю в рощу, где с мая месяца каждое воскресенье устраивались народные гулянья.

Ушаков не любил быть с ней на людях. Он робел и чувствовал себя неуверенно и плохо.

Федя предпочитал сидеть вдвоем с Любушкой где-либо в палисаднике у дома или на обрыве, чем ходить, как он выражался по-морскому, «в ордере¹ конвоя». А Любушка обязательно хотела других посмотреть и себя показать.

— Мне, кроме тебя, никого не надо! — отговаривался Федя.

Тогда Любушка шла в атаку с другой стороны.

— Ты что, стыдишься ходить со мной? Жался бы только по углам! — насмешливо говорила она и отворачивалась, капризно надув свои пухлые губки.

¹ Ордер — строй флота в море.

И Федя скрепя сердце уступал. Он шел насупившись, точно его вели на казнь.

Но Любушка прижималась к его плечу, ласково заглядывала ему в глаза и вдруг улыбалась, и вся Фебина суровость мгновенно исчезала.

Они шли в рощу и сразу же попадали в людской водоворот. Слышалось треньканье балалайки, гудели рожки, где-то пели песни. На качелях высоко взлетали вверх красные, синие, желтые сарафаны. Кричали сбитенщики, продавцы кваса. Зазывали продавцы сластей — пряников, конфет. Шум, гам, пыль. Ни поговорить, ни собраться с мыслями, ни помечтать о будущей совместной жизни...

В июне установилась сухая, маловетренная, жаркая погода. Солнце вставало в какой-то дымке и палило без милосердия.

Рабочие верфи и арсенала падали в изнеможении от зноя.

Город как вымер, на улицах — ни души. Окна закрыты ставнями. Собаки попрятались.

Только на реке с утра до ночи возились ребятишки.

Воскресный день выдался еще более знойным. Небольшой ветерок, который был накануне, совсем утих. Стало душно, как в бане.

Ушаков после обеда пошел, как всегда, к Любушке.

Марья Никитишна сидела в подполе, кляня Воронеж, что в нем нет колодцев и за водой приходится тащиться вниз, к реке.

— Ну и жара, прости господи!

— Сорок в тени, — сказал Федя, проходя в комнату к Любушке.

А Любушке было нипочем. Она хотела идти гулять в рощу.

— Эх, неугомонная! Сидела бы уж. Где там до прогулок! — сказала мать.

Но Любушка не послушалась матери и потащила Федю на всегдашнюю прогулку.

Роща была полна народу. Все жались в тень деревьев и кустов. Сидели и лежали, разомлев от жары.

Любушка и Федя устроились под молодым дубком. Сюда немного еще доставало солнце, но через некоторое время это место должно было оказаться совсем в тени.

Дубок стоял у самой опушки, дальше шел луг.

Любушка полулежала, обмахиваясь платочком, и напевала:

Несчастливым детинка
На свет сей родился,
На свет сей родился,
В девушку влюбился...

В легком платье ей было не так душно, как мичману в его суконном мундире и такой же «нижней амуниции».

А он изнывал от жары.

Во рту пересохло, — ни сбитенщиков, ни квасников уже не было: всё раскупили.

Ушаков сбросил шляпу. Сидел молча, — от духоты не хотелось даже говорить.

С запада надвигалась грозная сине-багровая туча. Лучи солнца окрашивали ее края в зловещий оранжевый цвет.

— Любушка, будет гроза, пойдем домой, — сказал Федя.

— Вот так зейман — дождя испугался! — усмехнулась Любушка.

Если бы Федя не был и так красен от духоты, Любушка могла бы увидеть, как он покраснел от возмущения.

— Пока промокнет мой мундир, ты уже вся до нитки будешь мокрехонькая!

— И хорошо — хоть освежусь! А то я сегодня три раза бегала купаться, а все не помогает! — ответила девушка, не меняя положения.

Федя вытирал лицо платком.

А страшная туча приближалась. Более предусмотрительные люди поспешно уходили из рощи, но таких оказалось немного.

Вот туча уже совсем близко, подул легкий, но не освежающий ветерок, и вдруг разом все — роща, луг, Воронеж — потонуло в непроницаемом мраке. Стало так темно, как не бывает даже в самую глухую осеннюю ночь. И вслед за темнотой налетел страшный ураган.

Роща загудела, застонала. Затрещали ломающиеся деревья, слышались крики людей.

Ушаков не растерялся. Он вскочил на ноги, схватил закричавшую от страха Любушку и, пересиливая ветер, шатаясь, кинулся в беспроглядную темноту, туда, подальше от рощи, на луг. Он вмиг сообразил, что во время урагана опаснее быть под деревьями, чем в поле.

Федя смог сделать лишь полдесяток шагов. Новый, более сильный порыв ветра заставил его упасть на колени. Он заслонил собою Любушку, которая беспомощно уткнула лицо в его камзол.

Тьма не рассеивалась ни на секунду. Тучи пыли неслись, забивая глаза, нос, рот.

Ураган свирепел.

В роще трещали, падали деревья. Сквозь вой ветра доносились вопли и крики.

«Вот так, должно быть, валится в бою от меткого пушечного залпа рангоут», — мелькнуло у Феде в голове.

Порывы ветра шли волнами. На какую-то долю секунды посветлело, чтобы снова покрыть все непроницаемой тьмой.

«Сколько же может так продолжаться?»

И вот над головой сверкнула молния, загрохотал громовой раскат, и полил дождь.

Ветер сразу утих.

Федя сорвал с себя мундир и накрыл им Любушку и себя. Они сидели под ливнем, тесно прижавшись друг к другу. Озорная Любушка смеялась, — страх прошел, и ей уже было весело.

Когда ливень наконец стих, из рощи бежали к слободке вымокшие, грязные, поцарапанные, напуганные люди.

Слышались чьи-то вопли, плакали дети.

Со многих домов и сараев буря сорвала крыши. По улице прыгали сбитые ураганом вороны.

Прибежали домой и Любушка с Федей.

— Любочка! Жива! — плакала, обнимая дочь, Марья Никитишна. — Деточки!

— Живы, живы, мамочка!

Ушаков стоял на пороге, не смея войти в комнаты: он был весь в грязи, с него текли потоки воды.

— Мамочка, если б не Федя, я бы, наверное, погибла! — кричала из комнаты Любушка, побежавшая переодеваться.

— Феденька, сыночек мой, а ты как? — наконец обратила внимание на Ушакова Марья Никитишна.

— Ничего. В порядке. Только вот шляпу унесло...

— Какую? Твою? Форменную? С золотым галуном? Так ведь она, я чай, рублев пять стоит!

— Пустяки! Одна голова навек! — улыбаясь, говорил мичман Ушаков.

XI

Производство в лейтенанты пришло летом — тридцатого июля. Одновременно с этим Ушакова назначили командиром только что построенного в Таврове прамы № 5.

Федор Ушаков впервые получил в команду самостоятельное военное судно. Правда, это был не фрегат и даже не бриг, а всего лишь малоподвижный, плоскдонный прам, у которого нос и корма ничем не отличались друг от друга. Но и прам со своими двадцатью двумя пушками большого калибра в нижнем деке и столькими же меньшими на открытой верхней палубе все-таки представлял определенную военную силу.

Прам через два дня должен был уйти к устью Дона, защищать его с моря.

Узнав обо всем этом, Федя тотчас побежал к Ермаковым поделиться своими новостями.

Любушка сидела с вязаньем в палисаднике. Она издалека увидела Федю и по его взволнованному, сияющему лицу поняла все.

— Лейтенант! Лейтенант! — по-детски прыгала она, хлопая ладоши.

Из дому на ее крик вышла навстречу лейтенанту Марья Никитишна. Она уже на ходу вытирала фартуком губы, собираясь приветствовать Федю.

Сегодня Федя был оживленным и веселым, как никогда. Он даже прочел шутливую оду на день производства в лейтенанты. Эти вирши сочинил на Балтийском флоте какой-то безвестный пиит, и их переписывали и затверживали наизусть все мичманы:

Как держит небеса плечами,
Упершись в адско дно. Атлант,
О! Флотские, так между вами
Велик и мощен лейтенант!
О день! О дух мой восхищенный,
Ты, лейтенантом воскрыленный,
Пари, взносишь до облаков!
Се мысленно уж там летаю,
Как орл: взор долу устремляю
И зрю несчастных мичманов!

Когда сели обедать, Марья Никитишна вынула из шкапика штоф с водкой, настоянной на каких-то целебных травах.

Пили за лейтенанта.

— Второй раз в жизни пью, — признался Федя.

— А в третий раз когда будем? — толкнула его локтем Любушка.

— Скоро. Когда же повенчаемся?

— Неизвестно, где и как устроишься, Феденька. Раньше поезжай, узнай, а после приедешь.

Федя насупился.

— Не бойся, я тебя обожду!

— Наживетесь еще вместе! Успеете надоест друг другу. Вся жизнь впереди! — уговаривала Марья Никитишна.

Ушаков задумался. Было больно, было досадно, что на какой-то срок вновь откладывается то, о чем он мечтал эти месяцы. Но, здраво рассуждая, Марья Никитишна права.

Никто не мог сказать, какая пристань, какой берег станет на ближайший год базой для Федора Ушакова. Ясно одно: только не Воронеж. Значит, придется обосноваться где-то там, в Азове, или в малообжитом Таганроге, а потом думать о женитьбе.

Скрепя сердце Ушаков принужден был согласиться с этим.

Марья Никитишна утешала молодых, говорила, что в жизни моряка разлука с семьей — обычное, неизбежное зло, что так живут все моряки и так жила со своим покойным мужем и она.

А Любушка клялась, обещалась ждать жениха, не забывать о нем...

Ушаков вздохнул и сказал:

— Что ж поделаешь?.. Значит, так держать!

И вот настал день отъезда в Таврово.

Ушаков уезжал ранним утром на шлюпке.

Любушка и Марья Никитишна пришли провожать его. Хотя, кроме матросов, рабочих, грузивших на баржу разные припасы, на пристани не было никого, Федя, как всегда на людях, чувствовал себя стесненно.

Ушаков никогда не был особенно разговорчивым, а теперь слова и вовсе не шли у него с языка. Он отвечал односложно на вопросы Марьи Никитишны и не спускал глаз с любимой девушки. А Любушка прижималась к нему, и в ее голубых глазах дрожали слезинки.

— Ваше благородие, шлюпка готова! — крикнул со шлюпки унтер.

Федя поцеловался с Марьей Никитишной и порывисто обернулся к Любушке.

Она, плача, упала в его объятия.

Ушаков прижал к себе эту, хрупкую, тоненькую девушку. Слезы сдавили ему горло, но он сдержался.

Еще раз поцеловал ее и, ссутулившись, быстро пошел к шлюпке. Лицо его было хмуро. Брови сдвинуты плотнее обычного.

А матросы, катавшие с пристани на баржу бочки со смолой и бухты канатов, видя это прощанье, весело затынули:

Матрос в море уплывает,
Свою женку оставляет.
Вот калина,
Вот малина...
Закрепили паруса,
Прощай, любушка-краса!..

Эта всем известная шуточная песенка была, что называется, не в бровь, а в глаз.

— Феденька, погоди, возьми! — бежала сзади за Ушаковым Марья Никитишна, протягивая ему сверток с провизией.

Ушаков машинально взял сверток и прыгнул в шлюпку.

Пристань, берег, Воронеж, милая сердцу Чижовка стали удаляться.

Все уменьшалась и уменьшалась на берегу фигурка Любушки, машущей платком. И вот наконец она слилась с берегом. Федя так отчетливо, так ясно представлял себе глаза, рот, улыбку Любушки, каждую черточку ее милого личика, что ему казалось: стоит только протянуть руку — и вот она, улыбающаяся и любимая!

Но с каждым дружным взмахом весел гребцов Любушка удалялась от него все больше и больше.

КУТУЗОВ

Часть первая

«ИЗ СТАИ СЛАВНОЙ»

Глава первая

«ЧУГУН КАТУЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩЕН!»

С малым числом разбить великие силы тут есть искусство и сугубая слава.

П. Румянцов

Сражение при реке Кагуле походит более на баснословное, нежели на действительно историческое.

Д. Бантыш-Каменский

I

Россия не хотела войны, но турки навязали ее. Европейские покровители турок уговорили Оттоманскую Порту напасть на русских. Они боялись того, что силы России растут с каждым днем и что с каждым днем растет ее влияние в Европе.

Европейские враги России думали ослабить ее. Они убедили турок, что с такой армией, как турецкая, можно завоевать весь мир.

И война началась.

Русско-турецкая граница проходила по открытым причерноморским степям, удобным для нападения.

В первые же месяцы войны, осенью 1768 года, подвластные Турции крымские татары попробовали сделать набег на Украину, как делали они это сотни лет подряд.

Русские отбросили их, нанеся татарам большой урон.

Это был последний набег крымских татар на Россию. 1769 год прошел в незначительных военных операциях.

А летом следующего, 1770 года генерал Румянцов разбил турок и крымских татар в Молдавии у Рябой Могилы и на реке Ларге, несмотря на то что враг имел большое численное превосходство. Разбитые 7 июля у Ларги турки и татары бежали в беспорядке.

Легкая кавалерия и егеря, всегда шедшие впереди армии, неумоимо преследовали турок уже шестой день.

Июльское солнце стояло над головой. На небе ни облачка. Давили полуденная духота и дорожная пыль. Укрыться бы хоть на часок под чахлыми кустиками, да некогда: тотчас же после Ларги ко-

мандующий армией Румянцов приказал авангарду генерала Боура узнать, куда враг «ретираду держит».

И вот авангард поспешал из последних сил.

Измученная кавалерия вперемежку с егерями растянулась по всей дороге до самого горизонта. Кони едва тащились. В русской кавалерии лошади были рослые, требовавшие хороших кормов. А какой корм в выжженной солнцем степи?

Егеря не отставали от карабинеров: недаром в егеря Румянцов велел отобрать расторопных, проверенных и ловких людей. Они шли, по своему обыкновению, налегке: ни тяжелых гренадерских сум, ни палаток, ни шпаг. Одно винтовальное тульское ружье со штыком. А за плечами полупустой снабзак — вешевой мешок.

— Сторонись, кавалерия: пятки отдавим! — шутил молодой егерь, поравнявшись с усталыми конниками.

— Катись, катыш! — беззлобно отвечал карабинер.

— Ишь, чуть от земли виден, а туда же! — откликнулся другой, глядя на опережавших их пехотинцев: в егеря брали малорослых.

Егеря не остались в долгу.

— Егерь ростом невелик: мал, да дорог золотник! — ответил словами песни один.

— Гляди, экой великан выискался!

— Взгромоздился на бедную скотинку и доволен!

— Слезь с коня, и ты больше нашего ростом не выйдешь! — отбивались другие.

— Нет, брат, — не сдавался карабинер. — Я — два аршина восемь вершков. А у вас, егерей, больше пяти вершков не положено. Видел я, как в прошедшую прущую кампанию генерал Румянцов впервые заводил эту вашу блошиную команду!..

— И отчего вы, карабинеры, так утомились? — поддевал егерь. — Ведь Петра Александрович почти на два пуда уменьшил вашу снасть. А что делали бы вы, если бы на вас кирасы да колеты еще остались?

— А ты разве столько несешь, сколь мушкатер? — огрызнулся карабинер. — Ни шпаги у тебя, ни гренадерской сумы. Не в снаряжении дело. Первое дело — конь. Сам знаешь, он животная нежная, не как человек. Он такую воду, как мы с тобой пьем, и в рот не возьмет! Опять же еда. Нехотя притомишься тут...

— И то верно! — согласились егеря.

— И куда же вы, егеря, так прытко?

— За туркой!

— Не поймаешь: турок хорошо пятки салом смазал. Который день его ни слуху ни духу!

— Ан поймаем!

— Ну, бегите, ловите! Вам — пешки мало замешки, а нам — коня седлай, амуницию надевай! — отшучивался карабинер.

Егеря один за другим обгоняли еле тащившихся карабинеров. Навстречу им из-за пригорка выехал казак. Загорелый, черный от пыли, одни зубы белые. Широкая русая борода, а глаза молодые, двадцатилетние.

— Что, станишник, назад ударился?

— Чего испугался? — спрашивали егеря.

— А знатная у тебя, казачок, грудка русая! Чай, тепло? — шутили безбородые егеря, намекая на пышную казачью бороду.

— Благодарение Господу. Не жалуюсь! — ответил казак. — А где ваш полковник, ребята? — серьезным тоном спросил он.

— У нас не полк, а батальон! У нас не полковник, а капитан.

— Ну, давай капитана!

— А тебе зачем?

Егеря — рады случаю — остановились, окружив казака.

— Надо: тьма-тьмушая турки валит, — махнул куда-то в сторону нагайкой казак. — И конница, и пехота, и пушки, над землей такой гул да трескотня, как на току.

— Дошли, братцы!

— Не убеги! — зашумели егеря.

— Вон капитан! — указали казаку.

Сзади, в гуще егерей, ехали два офицера. Один — лет тридцати пяти, осповатый, с какой-то презрительно сощуренной физиономией. Похоже было, что офицер вот-вот чихнет. Другой — лет на десять моложе, миловидный, румяный, быстрый, как и надо быть егерскому командиру.

— Тот, рябой? — переспросил потише казак, мягко нагибаясь с седла к егерям.

— Да нет, другой, что помоложе, русский!

— Ай не видишь: кареглазый — наш, русский, а тот высокий — его помощник француз, капитан Анеужели.

— Это что, евоная прозвища такая — Анеужели? — улыбнулся казак.

— Да, фамилия.

— А нашего, русского капитана как звать-то?

— Михайло Кутузов.

Казак тронул коня и поехал навстречу офицерам.

— С чем, борода? — окликнул казака кареглазый офицер.

— Турок отыскался, ваше благородие.

— Где? — оживился Кутузов.

— Недалече. Верстов с пятнадцать.

— Чудесно. И много их там?

— Без счета, ваше благородие.

— Наконец-то! Что ж, придется поехать полюбопытствовать, не так ли? — обратился к капитану Анжели Кутузов.

Анжели только поморщился:

- А зачем? Ведь казак видел?
- Точно так, ваше благородие, видал!
- Как зачем? Рекогносцировать. Петр Александрович всегда так учит: обозреть самому! Он самовидцу больше доверяет!
- В Европе так никто не делает!
- В Европе у вас многого не делают. У вас и ночью не воюют, а вот Петр Александрович — воюет, и с успехом!
- Поезжайте один, Михайло Илларионович, а я останусь: не-вмоготу, жара...
- Труса празднуете, Франц Карлович, а зря: опасности-то никакой! — насмешливо улыбаясь, посмотрел на Анжели Кутузов. — Поедем, братец!

Он кивнул казаку и прищпорил коня.

Капитан Анжели вспыхнул — так о нем при солдатах! Молоко-сос! Мальчишка! Но ничего не сказал, а, отъехав в сторону с дороги, стал слезать с коня. Проходившие егеря смеялись втихомолку:

- Не в бровь, а в глаз: энтот Анеужели и впрямь трус!
- Трус, да еще каких мало. Даве, в бою, все возле обоза только и спасался!
- А гляди, наш Михайло: даром что молодой, а остер!
- Да, брат, и сметлив!

II

Небольшая молдаванская деревня Гречени — полтора десятка мазанок, разбросанных как попало по степи, — неожиданно-негаданно оказалась в центре расположения русской армии.

Сначала до деревни доносились пушечные раскаты, и жители с ужасом ждали, что на Гречени налетят турки и предадут все огню и мечу. Потом все стихло, словно нигде не было никакой войны.

И вдруг однажды на рассвете появились русские войска.

Вся степь пришла в движение. Пушки, кони, люди, повозки охватили Гречени со всех сторон. Вокруг нее стала лагерем армия генерала Румянцова. Белые палатки, усеявшие степь, напоминали издали стадо гусей, слетевшихся на пастьбу.

Тихая, затерявшаяся в степи деревенька ожила. Ее мазанки заполнились генералами и офицерами. Хозяева уступали гостям чистую прохладную горницу: сами они все равно никогда не жили в ней. А солдаты уж устраивались кто как умел: в будяке и чертополохе, пожелтевшем на солнце, во дворе, у громадной — чуть поменьше хаты — плетеной кошелки, куда молдаване ссыпали початки кукурузы, или под одиноко стоящей каруцей, выискивая хоть какое-нибудь подобие тени. И обсуждали новую стоянку:

- Это называется у них — двор: ни сарая, ни гумна!

— Телега ихняя — каруца — и та вон жарится на солнцепеке.

— А молдаванину что? Он все равно колес никогда не мажет!

— И хоть бы деревцо! Солнце встанет — опять деваться некуда.

— А все-таки дома у них ладные, чистые. Вишь, окна и двери как размалеваны...

— Да что толку-то в чистоте, коли в избе настоящей русской печи нет. Один очаг в сенях.

— Нет, это хорошо, что варят в сенях: в избе чище!

— Чисто-то чисто, да красного угла у них нет...

— И спят где попало. Войлок по всей избе таскают. То ли дело у нас: печь.

— Ты все о холоде позабыть не можешь. Тут, брат, морозы поменьше, чем у тебя в Архангельске...

— Слышь, а как эта деревенька прозывается?

— Гречани.

— Выходит: «Гоп, мои гречаники»?

— Да. Наш Петра Александрович не зря подобрал такую — Гречаники: он любит все украинское, вырос на Украине!

— А знаешь, бабы тут схожи на украинок, ражие.

— Э, далеко куцему до зайца! — отозвался украинец. — Наша Одарка чи Пидорка як буря по хате носится, и кричит, и сокочет. А эта чуть ворущается и только одно знает: «Нушти русешти».

— Верно, народ здесь тихий.

А кое-кто раздумывал о другом:

— Сказывают, турок отселе недалече.

— Эх, рогаток нет. Обставились бы ими — все надежнее от турка! — говорил старик гренадер, который еще никак не мог привыкнуть к тому, что генерал Румянцов уничтожил все рогатки. Раньше и на постое, и в бою пехота ограждалась ими от налетов турецкой конницы.

— Зря жалеешь, дядя! — возразил гренадер помоложе. — Петр Александрович верно сказал: рогатки — трусу заграда, храброму помеха!

— Пропади они пропадом, эти рогатки! — поддержал другой. — Ты их не перетаскивал в бою, так тебе можно хвалить. А как мы вшестером из нашего взводу таскали их, так не сладко было. Басурман только и глядит, как бы перво-наперво срубить переносчиков. А у нас руки рогаткой заняты и за оружие не взяться!

— Сказано: надейтесь не на рогатку, а на штык!

— Без них и обозу легше!

— Теперь обозу и так легко, — ворчал старик. — Провиант на исходе. Пустые мешки возьят...

— Не пропадем: у молдаванина кукуруза есть.

— Привезут! На целый месяц привезут. Провиант идет! Обоз не поспевает за нами: ведь только наемни он через Прут перешел.

Армия Румянцова действительно находилась в довольно трудном положении: провианта при себе было только до 21 июля, а впереди и сзади стоял численно превосходящий противник.

Если бы действовать по европейским правилам, то надо было бы торопиться назад, навстречу обозу. А Румянцов, подойдя к Гречени, остановился: он ждал, когда подойдут обозы, которые отстали на шестьдесят верст.

При Ларге Румянцов воспользовался тем, что визирь еще не переправился с главными силами через Дунай, и ударил на крымского хана Каплан-Гирея, который командовал соединенными турецко-татарскими силами.

А теперь Румянцов принужден был выжидать. Он стоял, зная, что визирь тем временем переправится и соберет все силы, но не боялся этого, надеясь на свои войска.

На второй день стоянки у Гречени в полдень с юга донеслись пушечные выстрелы.

В бою турки обычно палили торопливо, без толку, а тут стреляли размеренно и не спеша.

Было похоже на салют.

Румянцов понял: радуются, что наконец пришел с главными силами сам визирь Халил-бей.

Русская разведка подтвердила это: Халил-бей переправился через Дунай у Исакчи. Туркам в конце концов удалось навести мосты: в этом году река разлилась так широко, что старики не помнили такого половодья.

Визирь с громадными силами в сто пятьдесят тысяч человек при ста сорока орудиях надвигался с фронта, а сто тысяч татар все время норовили напасть с тыла на армию Румянцова, в которой насчитывалось не более двадцати пяти тысяч человек при ста семнадцати орудиях.

Казаки в тот же день донесли: визирь остановился у деревни Вулканешти, до которой от Гречени было восемь верст.

— Если Халил-бей раскинет у Вулканешти хоть одну палатку, я атакую его немедленно! — сказал своим генералам Румянцов.

Генералы знали, что Румянцов не побоится сделать это. Они запомнили, как на военном совете перед Ларгой командующий сказал: «Слава и достоинство воинства российского не терпят, чтобы видеть неприятеля и не наступать на него!»

Но генералы знали также, что Петр Александрович вместе с тем очень осмотрителен и осторожен.

На следующий день, утром 20 июля, у Гречени уже появились турецкие конные разведчики. Они кружили на своих резвых скакунах, подлетали к самым передовым постам, джигитуюя, что-то крича и стреляя на всем скаку.

Карабинеры и кирасиры не рисковали выступить против них на своих тяжелых лошадях, пригодных больше для парада, чем для боя. Но казаки Иловайского сразу кинулись в стычку — пятерых спагов¹ зарубили, а остальных прогнали за Траянов вал.

Румянцов приказал казакам захватить «языка».

Через час к русскому лагерю снова примчались назойливые, как оводы, наглые спаги. Их было около двух десятков. Один из турок, в малиновой чалме, был с зеленым значком на пике.

Казаки тотчас же кинулись на спагов.

— Берите живьем этого, со значком! — крикнул своим донцам урядник.

Казаки старались как-либо отбить в сторону турка, возившего значок. Они наскакивали, но спаг отмахивался значком. Пугливые казачьи кони каждый раз шарахались в сторону, и турок ускользал из рук.

— Вот я сейчас его, сучьего сына! — обозлился урядник. Он изловчился и выстрелил из пистолета в коня всадника.

Турецкий конь рухнул на передние ноги, а спаг перелетел через голову и шлепнулся, как мешок. Казаки в один миг скрутили его.

На выручку своего бросились остальные турки, но девятерых из них казаки уложили, а около десятка спагов успели ускакать. Пленного спага повели к командиру армии.

III

Пленный, поджав под себя ноги, невозмутимо сидел перед мазанкой, в которой помещался командующий русской армией. Турок уставился в землю, не обращая внимания ни на часовых, застывших у дверей мазанки, ни на входивших в нее и выходивших офицеров.

Двое карабинеров с палашами наголо стояли возле спага, изнывая от жары. Карабинеры с удивлением смотрели на турка: как может он сидеть в этакой чалме, окутавшей всю голову, когда в треуголке, которая прикрывает одно темя, и то невтерпех?

Черноглазые молдаванские ребятишки выглядывали из-за угла, терпеливо ожидая, что же будет дальше. За эти дни они уже привыкли к русским и смело шныряли по лагерю.

Переводчик, низенький, тучный армянин, старался как-либо укрыться в тень камышовой крыши мазанки и все поглядывал на дверь: скоро ли выйдет командующий?

Наконец послышались голоса и шаги. Из мазанки не торопясь вышел высокий, величественный Петр Александрович Румянцов.

¹ Спаги — легкая кавалерия. (Прим. автора. В дальнейшем все примечания в сносках также принадлежат автору.)

За ним шли генералы Боур, Племянников, Олиц, Репнин и инженер-генерал Илларион Кутузов.

Переводчик подбежал к пленному, что-то быстро сказал ему и слегка ткнул турка в бок носком сапога. Турок лениво поднял голову, нехотя поднялся на ноги и вдруг, заливаясь краской, быстро залопотал. Он запальчиво выпалил несколько фраз, среди которых мелькнуло слово «Румянчув», и так же неожиданно смолк.

— Чего он хочет? — сурово спросил Румянцов.

Армянин перевел:

— Русские только надеются на свои пушки, против которых, конечно, никто не может устоять: они разят, как молнии! Но пусть русские не стреляют. Пусть Румянцов прикажет, чтобы его солдаты вышли как храбрые воины — с одним мечом в руках. И тогда он увидит, могут ли неверные противостоять мусульманам!

— Кипи, кипи, збанок, доки вухо не вырвется! — усмехнулся командующий, взглянув на генералов.

Турок исподлобья смотрел на него.

— Где визирь? — строго спросил Румянцов.

— В Вулканешти.

— Как расположен лагерь?

— В долине, на левом берегу реки, где она впадает в озеро Кагул.

— Войска много?

— Без числа.

— Сколько пушек?

— Как дней в году!

— Ну, положим, не столько! — ответил Румянцов. — А какого калибра? Больше, чем были при Ларге?

— Больше. У нас есть пушки «балгемес». Их каждую везут соток буйволов.

— А что такое «балгемес»?

— «Балгемес» по-турецки значит: «не едят меду», — ответил переводчик.

Румянцов усмехнулся:

— Да, это известно: от любой пушки врагу сладости мало. А обозы-то богатые?

— Обозы богатые. Но русским не видать их как своих ушей! Вас мало. Вы будете раздавлены, как козьявки! — убежденно твердил пленный.

— Когда же Халил-бей собирается нас раздавить?

— Завтра после намаза: завтра счастливый день.

— А где татары?

— За озером Ялпук.

— Почему они не вместе с турками?

— Татары осрамялись при Ларге. Мы больше не хотим выступать вместе с ними.

— Так вам и поверили! — сказал Румянцов. — Янычары роют окопы? — спросил он, зная, что турецкая пехота предпочитает драться за укрытием.

— Роют.

— Значит, все готово к бою?

— Готовятся. Визирь подарил пашам по шубе. Паши поклялись, что, не разбив русских, не уйдут!

— Так, так. Завтра пашам и без шуб станет жарко!

Турок снова заговорил о чем-то очень горячо.

Армянин перевел:

— Турок хвалится, что перед их знаменем пророка не устоит никто: санджак-шериф — кипарис побед; зеленое знамя калифов! Чуть на него взглянет неверный, сразу же ослепнет!

— Ну, уж понес чепуху! — досадливо махнул рукой командующий. — Довольно. Все ясно. Уведите его!

И Румянцов пошел назад в мазанку.

«Медлить нельзя, надо предупредить Халил-бея, — думал он. — Татары раньше завтрашнего полудня не успеют к нему на помощь!»

В маленькой молдаванской хате командующий казался еще более высоким и мощным. У окна на столе лежала карта. Румянцов нагнулся над ней.

Генералы почтительно стояли поодаль.

Румянцов смотрел на карту и думал:

«Визирь уверен в победе. Он даже не позаботился выбрать лучшую позицию — стал не на высотах, а в долине. Ему удобно перебрасывать свою конницу по долинам. Он убежден в том, что ему не придется отступать. Надо воспользоваться оплошностью врага. Наступать немедленно!»

А генералы в это время раздумывали: что предпримет командующий в таком трудном положении? Отступить в виду превосходящего в десять раз противника уже опасно, но и наступать с двадцатью пятью тысячами против двухсот пятидесяти не шутка! В случае неудачи армия Румянцова оказалась бы запертой в узком пространстве между двух рек и больших озер.

Румянцов повернулся к начальникам дивизий.

— По моему простому рассуждению, — начал он своим любимым присловьем, — надо выступать сегодня в час пополудни. Ударим, пока визирь не догадался переменить позицию. Вот смотрите, господа!

Генералы подошли к столу.

— Генералу Боуру идти по высотам к левому флангу турок. Племянникову и Олицу — туда же. Остальным — отвлекать неприятеля.

Многословия Петр Александрович не любил. Замысел командующего был ясен: Румянцов намеревается ударить всеми силами в одно место. В бой идти пятью каре. Бой начать ночью!

Все по-своему, не так, как учит Европа. Все по-русски!

IV

Войска, построенные в пять колонн, ждали сигнала к выступлению. Сегодня командующий приказал бить вечернюю зорю на два часа раньше, чтобы люди успели выспаться. И хотя была ночь, но в колоннах никто не клевал носом.

Полки стояли «вольно».

— Курить и говорить — на месте! Чтоб на марше ни огонька, ни звука! — таков был приказ.

Курили, переминаясь с ноги на ногу, думали, перешептывались:

— Знатно это, братцы, что впереди — Траянов вал: турок не видит, что ему готовится!

— Басурман спит спокойно.

— Чего ему бояться! Нас против него — горсточка!

— А хорошо это придумал Петра Александрович — выступать ночью: не жарко и враг нас не ждет.

Генерал Боур с остальными офицерами — графом Воронцовым, князем Меншиковым и Михайлой Кутузовым — стоял между егерями, разговаривая. Вестовые держали командирских лошадей.

К Боуру подошел капитан Анжели. Француз шел скорчившись и держась одной рукой за живот.

— Что с вами, капитан? — участливо спросил Боур.

— Живот схватило, ваше превосходительство. Как ножами режет, — хмуро ответил Анжели.

— А что вы ели? Лапти дульче?

— Ел эту проклятую молдаванскую маринованную тыкву с чесноком. Теперь ни стоять, ни сидеть...

— Подите ко мне в хату. Полежите. Выпейте водки или хотя бы здешней ракии. Авось пройдет. Вы нас успеете догнать!

Анжели только стонал.

— И надо же, перед самым боем схватило, — посочувствовал Воронцов.

— Да, да, — натужно сказал Анжели и, все так же скрючившись, пошел по направлению к Гречени.

— Медвежья болезнь приключилась! — вполголоса сказал вслед ему Кутузов.

Двадцатичетырехлетний подполковник Меншиков не выдержал, фыркнул. Первая шеренга егерей слышала весь разговор и оживленно перешептывалась:

— Анеужели тягу дал!

— И как ему не стыдно?

— А зачем барину-то голову класть за чужое отечество?

— Тогда не лезь в нашу армию! Сиди у себя дома на печке!

— Да, назвался груздем, полезай в кузов!

Сзади послышались конский топот и какие-то голоса.

— Кто там шумит? — встrepенулся Боур, взглянув назад, где стояли его двенадцать эскадронов карабинеров и гусар.

В полутьме летней ночи вырисовывалась приближающаяся группа всадников. Еще минута — и все сразу узнали высокого румянцовского жеребца Цербера, которого солдаты звали по-своему, понятнее, — Цебер. На Цербере возвышалась представительная фигура командующего. За ним трусили три адъютанта: Румянцов не любил пышной свиты.

— Са-ам!

— Петра Александрович! — заговорили егеря, к которым подъезжал он.

Боур и командиры батальонов поспешно сели на коней.

— Не робеть, ребята! — не спеша, отдельно и четко говорил командующий. — Вспомним Ларгу! Вспомним рябую Могилу! Была могила турку и впредь будет! Мы победим! Молодцами, егеря!

Вот тут-то егерям задача. В другое время они единодушно гаркнули бы: «Рады стараться!..» Но ведь сейчас громко говорить не велено. И задние полки тоже ведь молчат!

И по егерским рядам только пронесся одобрителный гул, — мол, не выдадим!

Чувствовалось, что солдаты поддерживают своего командира.

Румянцов поравнялся с Кутузовым.

— А-а, Михайло Ларионович! — улыбнулся он.

Кутузов молча снял треуголку, приветствуя командующего. «Всех всегда помнит. Удивительная память. Офицеров — даже по именам и отчествам, а многих солдат — по фамилии».

Румянцов заставлял офицеров знать своих солдат по имени, ближе знакомиться с ними.

Командующий армией поехал дальше, к артиллеристам, шедшим в голове колонны. Боур присоединился к Румянцову. Воронцов и Меншиков поспешили назад к своим батальонам.

Михаил Илларионович всегда с интересом смотрел на командующего. Когда он приехал в армию из Санкт-Петербурга и представлялся Румянцову, командующий сказал его отцу, Иллариону Матвеевичу Кутузову, который присутствовал при этом: «Подобного Михайле наукою я в сем чине еще не встречал!»

Кутузов запомнил, как отец рассказывал, что Фридрих II Прусский в Семилетнюю войну предупреждал своих генералов: «Остерегайтесь этого дьявола Румянцова, остальные генералы союзников не опасны!» И всегда помнил, что Петр Александрович Румянцов — родной, хотя и внебрачный, сын Петра Великого.

Да, в Петре Александровиче Румянцове есть что-то от его отца! И особенно в военном искусстве.

В военном деле Румянцов во всем следует петровским заветам. Румянцов, так же как и Петр Первый, ценит и любит солдата, надеется на него, помнит о нем. Потому-то и сейчас приехал говорить с ними.

Чувствует, что солдаты знают о том, как силен визирь, и что кое-кто из солдат может вдруг усомниться в успехе.

Вот и приехал сказать им хоть два слова — Петр Александрович был немногословен. Приехал подбодрить в последнюю минуту перед неравным боем.

Недаром девиз Румянцова — *non solum armis*¹.

И солдаты ценили такое отношение к ним командующего.

V

Русские войска спокойно продвигались вперед, не встречая на своем пути никого. Идти было легко: ночь стояла прохладная.

Егеря капитана Кутузова, растянувшись по степи длинной цепочкой, сторожко шли впереди пехотных полков.

— Гляди в оба, ребята, — передал по цепи капитан Кутузов и сам зоркими глазами пристально вглядывался вдаль, осматривая местность: нет ли где засады. Но из-под ног егерей только выскакивали потревоженные суслики.

Румянцов ехал с самой сильной, в шестнадцать батальонов, дивизией генерала Олица, которая по диспозиции занимала в боевом порядке центр. Он ехал молча на своем высоком Цербере, думая о том, удастся ли нагрянуть на турка врасплох.

Как войска ни старались продвигаться бесшумно, но все-таки по степи к Траянову валу шагали двадцать тысяч пехотинцев и ехали семь тысяч всадников.

Иногда какой-либо grenадер спотыкался в полутьме о кочку и, не выдержав, чертыхался вполголоса. Иногда звякал подковой о подкову конь. По степным ухабам глухо тарахтели сто восемнадцать пушек.

Все эти звуки отчетливо раздавались в ночи.

А турки, которые располагались вон тут, за Траяновым валом, казалось, не слыхали ничего. Правда, однажды в их лагере вдруг

¹ Не только оружием (*лат.*).

открылась беспорядочная ружейная стрельба. Но это была ложная тревога, и через минуту все стихло.

«Врасплох не захватить», — огорченно думал Румянцов.

Когда подошли к Траянову валу — древним римским земляным укреплениям, зазел восток.

До турок осталось не более двух верст.

Кутузов увидел: на возвышенностях, прилегающих к турецкому лагерю, табунятся тысячи турецких всадников. Турки, видимо, готовились к наступлению. Кутузов остановил егерей и послал к Румянцову ординарца с донесением.

Румянцов приказал войскам принять боевой порядок.

Егеря стали в резерве. Их батальонные каре прикрывали тыл.

Каждая дивизия построилась в два каре, имея позади резерв. Если окинуть глазом все четырехугольное каре, то как будто и много войск. Но там, за Траяновым валом, стоят несметные турецкие орды. Когда поднялись на Траянов вал, солнце взошло и турецкий лагерь оказался как на ладони.

Вся ложбина между гребнями высот была, как саранчой, покрыта всадниками. Турецкая кавалерия представляла весьма пеструю картину: красные, синие, малиновые чепраки, расшитые золотом, огромные огненно-красные чалмы, разноцветные шальвары, значки, бунчуки — все это двигалось, волновалось: горячие маленькие лошадки спагов не стояли на месте.

— Чистая ярмонка!

— Ишь сколько их, чертей, поднабравши!..

— Осиное гнездо! — говорили русские солдаты.

Румянцов приказал главной батарее генерала Мелессино ударить скорострельным огнем по лагерю и спагам.

Тихое, ясное утро прорезали пушечные выстрелы.

В лагере сразу же поднялась суматоха. А спаги лавиной кинулись вперед. Они мчались, и им не было видно конца. К грому пушек присоединился страшный топот тысяч лошадиных копыт и неистовый рев всадников.

Русские каре приостановились, ожидая удара. Они стояли неподвижно, словно окаменев, стояли безмолвно, как грозная стена. Турки с каждым мгновением становились все ближе. В каре раздалась команда:

— Тревога! Каре ...товсь!

Барабаны подхватили этот боевой клич.

Тысячи турецких всадников облепили все русские дивизии, но главная масса спагов бросилась на левое, слабое каре Брюса.

Русские встретили налетевший шквал дружным ружейным и пушечным огнем. Он раскатывался по степи веселой дробью. Столбы пыли, волны порохового дыма скрыли все.

Румянцов не мог видеть, выдержит ли Брюс. Свита тревожно переговаривалась, вытягивая головы. Цербер поставил уши: казалось, он тоже слушает — а что там, на левом фланге? Только всегда гордое лицо Румянцова было спокойно.

И вдруг турецкие крики и ружейные выстрелы стали уже доноситься откуда-то с тылу, из-за Траянова вала.

— По лошине докатились в тыл! — высказал общую мысль генерал Олиц.

Ни один мускул не дрогнул на лице командующего армией, словно он ждал, что так и должно быть.

— Резерв и пехоту с пушками! Правифланговым каре — впол-оборота. Ударить сбоку! Закрывать туркам выход из лощины! — приказал он.

Ординарцы уже пробирались через задний фас каре, чтобы поскорее мчаться с приказом.

Столбы пыли и дыма у каре Брюса стали рассеиваться. И без зрительной трубы было видно: каре цело.

Пушечные и ружейные выстрелы раздавались уже сбоку: мушкетеры и егеря стали поливать огнем столпившуюся в лошине турецкую кавалерию. Снова под тысячами копыт застонала, загудела земля: орды турок мчались сломя голову по лошине назад. Но на многих лошадях не было видно всадников, и еще больше лошадей осталось лежать в лошине.

— Отбили, слава Те Господи!

— Первую атаку отбили! — радостно заговорили кругом.

Все хорошо знали, что турки вернутся. Это еще не конец. Спаги еще не раз попробуют напасть на каре.

А солнце поднималось все выше, и становилось невыносимо жарко. Пыль, поднятая тысячами конских копыт, клубы пушечного и ружейного дыма висели над полем битвы. Казалось, что бой длится еще не так долго, а уже прошло три часа. Атаки турецкой конницы были отбиты. Пехота не подкрепляла их, и русские окончательно отбросили спагов.

Впереди оставался укрепленный турецкий лагерь. В нем засели десятки тысяч янычар со ста сорока орудиями.

Лагерь ограждали четыре оборонительные линии.

— Не поленились, успели вырыть!

Но русские каре с барабанным боем смело шли на турецкие укрепления. Каре генерала Племянникова чуть выдалось вперед, двигалось быстрее соседнего каре Олица. Еще несколько сажен — и наши примут турка в штыки. И вдруг из лощины на каре Племянникова выскочили с саблями и ятаганами тысячи янычар. Они, очевидно, сидели в засаде.

Нападение было настолько неожиданным, что правый фас каре, который составляли Астраханский и первый Московский пол-

ки, в минуту оказался прорванным. Астраханцы и первомосковцы не успели выстрелить.

То, чего не удалось достичь коннице, удалось турецкой пехоте. Янычары с дикими, торжествующими криками ворвались внутрь каре. В образовавшиеся ворота ринулись лавиной спаги.

Каре Племянникова сразу потеряло строй. Солдаты бросились бежать назад, к своим, к каре Олица.

Ближе всех оказался первый гренадерский бригадира Озерова.

Румянцов тотчас же послал адъютанта с приказом Озерову:

— Удержаться во что бы то ни стало!

Гренадеры мужественно сдерживали яростный натиск янычар.

Румянцов оживился. Он выхватил из ножен шпагу и дал шпоры коню:

— Пропустите, ребята!

— Куда вы, батюшка?

— Куда? — останавливали командующего солдаты.

— Теперь мой черед! Пропусти!

Румянцов выехал из каре и помчался навстречу бегущим.

— Стой, ребята! Стой! — кричал он. — На вас смотрят отцы и матери! На вас смотрит родина! Стой!

Астраханцы и первомосковцы пришли в себя. Торопливо, не разбирая, какой полк, какая рота, становились плечом к плечу. Каре Племянникова понемногу восстанавливалось.

Румянцов увидел оплошность визира: он не поддержал вовремя удачное нападение янычар. Командующий приказал кавалерии ударить по турецкой пехоте.

Из-за каре с тяжким топотом вырвалась русская конница Салтыкова и Долгорукова. Засверкали палаши. Астраханцы и первомосковцы, обозленные конфузом, приняли турок в штыки. Отборные, закаленные в боях янычары — цвет турецкого войска — побежали. Их рубили палаши кирасир и карабинеров.

А сзади, за легкой кавалерией, уже попевали егеря Кутузова.

— Вперед, ура! — кричал капитан Кутузов, легко бежавший впереди солдат.

Егеря не отставали от своего неустрашимого командира.

В турецком лагере поднялся переполох.

Дивизия Боура первой ворвалась в лагерь. Егеря, рассыпавшиеся между палатками, били турецких командиров на выбор, увеличивая панику.

Турецкая армия кинулась из лагеря, бросая пушки, палатки, обозы — все свое добро.

Победа была полная. Татарская конница не успела прийти на помощь туркам.

VI

Жаркое, высоко стоявшее солнце освещало недавнее поле кровопролитной битвы и брошенный турками богатый лагерь.

В лощинах и на гребнях возвышенностей, у домов полуразрушенной, разграбленной турками деревни Вулканешти — всюду валялись сотни турецких трупов.

Оставленный турками лагерь был похож на громадную ярмарку. Среди белых наметов и палаток бродили верблюды, буйволы, кони. В степи кочевали без пастухов стада овец.

Румянцов приказал пехоте построиться; кавалерия еще продолжала преследовать разбитого врага.

Черные от пыли, потные и усталые, но веселые стояли русские войска. Кое-где в шеренгах вместо треуголок виднелись окровавленные повязки.

Румянцов въехал в это плотное многотысячное каре. Он ценил солдата, верного защитника отечества, и потому в эти минуты хотел говорить с ним. Командующий стал в середине каре и сказал:

— Я прошел все пространство степей от берегов Дуная и всюду бил врага, превосходящего нас численностью. Я нигде не делал укреплений. Ваше мужество и ваша добрая воля были моей непроборимой стеной! Спасибо, дети мои! Поздравляю вас с викторией! Ура! — закончил он короткую речь и, подняв над головой треуголку, поехал вдоль строя.

Сквозь раскаты ответного «ура!» Румянцов слышал, как кричали из шеренг:

- Чему ты дивишься? Разве мы когда-нибудь были иными?
- Ты сам — прямой солдат!
- Ты — истинный товарищ!

Гордое, мужественное лицо Румянцева светилось довольной улыбкой. Эти простые, искренние слова солдат были лучшей похвалой сыну великого Петра.

...Победители, так нуждавшиеся в роздыхе, наконец смогли отдохнуть и подкрепиться по-настоящему. О провианте не приходилось уже беспокоиться: в турецком лагере оказалось много разных припасов.

Михаил Илларионович, вместе с легкоконными войсками Боура преследовавший бежавших без оглядки турок, вернулся к Вулканешти уже после полудня.

Полки стояли вперемежку, и нельзя было разобрать, кто где становились ведь без квартиреров, в степи.

Кутузов заботливо разместил в ложине среди кустиков своих егерей, едва таскавших ноги, и поехал разыскивать отца. Он был уверен, что отцовский денщик Митюха, который тридцать лет со-

путствовал Иллариону Матвеевичу во всех его походах, конечно, успел приготовить обед.

Михаил Илларионович сильно проголодался. Было жарко, спина под мундиром вся промокла, на зубах хрустел песок. Пробираясь сквозь гущу полковых палаток, своих и трофейных, среди фур и повозок подошедшего обоза, пушек, зарядных ящиков и прочей армейской толчеи, Кутузов смотрел по сторонам: а где же палатки штаба? Пахло дымком бивачных костров, свежей артельной кашей, а кое-где и жареной бараниной.

Внимание Михаила Илларионовича привлекла группа мушкатер. У костра, над которым висел артельный котел, сидели солдаты. Один из них стоял с ложкой в руке и, видимо, пробовал кашу. Он отплеывался и ругался под беззлобный, но дружный смех товарищей.

— Какой полк, ребята? — спросил Кутузов.

— Первомосковский, ваше высокоблагородие.

— Чем это угощаетесь?

— Да вот, ваше высокоблагородие, пробуем какое-то басурманское масло, — ответил мушкатер, державший в одной руке ложку, а в другой большой хрустальный флакон. — Пахнет очень вкусно, а попробуешь класть в кашу, рот дерет!

— А ну-ка покажи мне скляночку, — протянул руку Кутузов.

Мушкатер передал ему красивый хрустальный флакон с какой-то жидкостью. Михаил Илларионович понюхал. Сомнений не оставалось: это было дорогое розовое масло, которое турецкая знать употребляла как благовоние.

— Это масло в пищу не годится, — улыбнулся Кутузов. — Это только для запаха!

— Я те говорил: давай лучше сапоги смажем!

— Осман им, должно быть, ружья смазывают!

— Возьми, братец, полтинник за эту склянку. Масло мне пригодится, — предложил Михаил Илларионович.

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! — радостно ответил мушкатер, принимая деньги.

— А где палатки штаба? — спросил Михаил Илларионович. — Где инженер-генерал Кутузов?

— Вона, за бугорком...

— Давеча ихний денщик прибегал к нам за дровами.

— Так, так, спасибо!

Михаил Илларионович поехал к бугорку.

Через минуту он уже слезал у знакомой палатки.

Отец, без мундира, в туфлях, лежал и курил.

Михаил Илларионович передал ему флакон с розовым маслом и смеясь стал рассказывать:

— Солдаты пробовали класть его в кашу, не понравилось, говорят: рот больно дерет!

— Откуда же им знать о розовом масле, это не конопляное. Астраханцы вон нашли мешок чудного кофе. Думали — турецкий горох. Стали варить. Варят-варят — никак не разваривается. «Одна-че, говорят, не поддается, проклятуший!» Так и выбросили. Вот мы тебя, Михайло, сейчас турецким горохом попотчует... Митюха! — крикнул генерал.

...Кутузов проснулся.

Сразу же после сытного обеда и кофе он лег в палатке отца спать — валился от усталости.

Вечерело.

Отец — уже в сапогах и в мундире — ходил возле палатки. Его седые клочковатые брови были сдвинуты: старик явно был чем-то недоволен.

Михаил Илларионович сел на постели:

— Эх, хорошо отдохнул! Теперь надо поехать к своим егерям — посмотреть, как там они. Сегодня мои ребята показали себя молодцами!

— Тебе придется ехать немного подальше, — многозначительно сказал отец.

— Куда? — с удивлением посмотрел Михаил Илларионович.

— Какие у тебя счеты с этим Анжели?

— Никаких.

— А почему он так зол на тебя?

— Не знаю... Может, за то, что я сказал, что он — трус? А в чем дело? — встал с постели Михаил Илларионович.

— Анжели переписывал убитых...

— Это по его разумению...

— Докладывал командующему о потерях, а заодно и наядбедничал на тебя. Мне только что генерал Ступишин сказывал.

— С Анжели всего станется. Что же он плел?

— Что ты осуждаешь действия Румянцова, говоришь, что Румянцов храбр умом, а не сердцем!..

— Так это же не я сказал, а царица! Все знают! И что в этом поносного?

— Знают, а тебе-то пересказывать зачем? Природа не зря дала человеку два уха и только один рот. Приучайся, Михайло, больше слушать, а меньше говорить. Понял? — наставительно сказал отец.

— Понял! — ответил Михаил Илларионович. — И что ж, Петр Александрович разгневался? — спросил он немного погодя.

— Разгневался. Знаешь: ведь он сам осторожен в словах. Сказал: отправить немедленно этого новоиспеченного стратега в Крымскую армию.

— Ну что ж, в Крым так в Крым! — ответил несколько смущенный Михаил Илларионович и вышел из палатки.

Но этот урок и мудрые слова отца Кутузов запомнил на всю жизнь.

Глава вторая

ФОНТАН СУНГУСУ

I

Гренадеры целое утро стреляли в цель.

Два раза в неделю из гренадерского батальона Московского легиона выводили в степь на учебную стрельбу одну роту. Гренадеры шли с ружьями и патронными сумками, но без шпак и гранат.

Батальон был составлен из молодых солдат, и его командир, двадцативосьмилетний подполковник Михаил Илларионович Кутузов, старался обучить своих солдат получше.

— Заряжать умеете, так думаете, остается только палить? Нет, надо раньше научиться стрелять! — подчеркивал он.

Кутузов строго предупреждал сержантов и капралов учить солдат терпеливо, не давать воли ни языку, ни рукам.

— Руганью да кулаком учит только лентяй или мало знающий сам! — говорил подполковник.

Он приказывал солдатам беречь патроны.

— Патроны сами не растут. Их надо беречь! В бою сколько хочешь патронов никто не даст!

Стреляли поодиночке в двухаршинные щиты, выкрашенные черной краской. Посредине щита шла узкая — в четыре вершка — белая полоска. В нее-то и надо было попасть. Щиты ставили сначала в сорока саженях, потом в восьмидесяти и наконец отнесли за сто двадцать сажен — так что белая полоска, казалось, и вовсе пропадала.

Офицеры ходили по капральствам и показывали, как надо прикладываться, как правильно целиться: не шевелить ни головой, ни ружьем, за «язычок» не дергать.

За всем неотступно следил сам командир батальона Михаил Илларионович.

И гренадеры день ото дня стреляли все лучше.

Другие командиры частей Крымской армии Долгорукова, стоявшей лагерем у деревушки близ Акмечети, не обучали своих солдат стрельбе. На вопрос молодого командира москвичей они отговаривались по-разному.

— У меня солдаты обстрелянные, старые, а у вас, Михайло Ларионович, молодые. Им полезно! — говорил один.

— Разве наших пентюхов выучишь стрелять цельно? — нелепо отвечал другой.

— Да ведь у нас, в Крыму, войны-то нет. Это не на Дунае! — возражал третий.

На Дунае действительно шла настоящая война.

Восемьсот лет русские войска не переходили Дунай. Фельд-маршал Румянцов, впервые после князя Святослава, не только закрепился на его берегах, но и перешел через Дунай.

А генерал Суворов прекрасно продолжал румянцовские победы: бил турок у Туртукая, Гирсова и Козлуджи.

В Крыму ждали со дня на день заключения мира с Оттоманской Портой. Крымские татары уже три года считались независимыми от Турции. Все знали, что султан не признает ханом Саиб-Гирея, утвержденного русскими, и что в Константинополе сидит и ждет, когда русские будут изгнаны из Крыма, Девлет-Гирей, которого султан назначил крымским ханом.

А сами крымские татары держали себя так, словно они тут ни при чем. Молодые, надвинув на лоб низкую барашковую шапку и накинув на плечи бурку, под которой наверняка скрывалась кривая сабля, ездили верхом по своим делам. А старые, поджав ноги, отсиживались в кофейнях, а в благостные предзакатные часы выползали на плоские кровли домишек и, покуривая, бесстрастно смотрели сверху вниз.

Женщины — по восточному обычаю — не показывались вовсе на глаза, лишь изредка за глинобитным плетнем мелькал розовый бешмет и малиновая бархатная шапочка.

Глазастые загорелые татарчата, увидя русского, кричали «хазак, хазак» и мгновенно исчезали в кустах, как ящерицы.

А муэдзин пронзительно, заунывным, голосом что-то возглашал с высокого минарета. Но кто мог знать, к чему он звал правоверных в этот наполненный мелодическим треском цикад и терпким запахом полыни тихий вечер. Стоял томительно жаркий, сухой крымский июль, с ясным, безоблачным небом, раскаленными, горячими ветрами, веющими из прожженной солнцем степи, с внезапно падающей на землю густой чернотой ночи, когда часовой должен напрягать зрение, чтобы в пяти шагах рассмотреть, кто идет.

Подполковник Михаил Кутузов переходил от одной группы гренадер к другой. Наблюдал, как стреляют, поправлял. Иногда, поворачиваясь, он невольно смотрел туда, где за степью, в далекой синеве, чернел Чатырдаг, или, как называли его русские солдаты, Чердак. Где-то там немолчно шумело, билось в берега бирюзовое море, а здесь расстилалась скучная, сухая степь. Становилось жарко. Вода, принесенная в ведерке из лагеря, невкусная, солоноватая

вода, и та уже вся вышла. Люди утомились, и пули чаще шлепались в пригорок, чем в белую полосу мишени.

— Вольно! — скомандовал подполковник. — Отдохните, ребята! Брусков, сбегай-ка за водой! — приказал он капралу. Он знал всех своих гренадер-московцев по фамилии. Михаил Илларионович запомнил мудрый совет фельдмаршала Румянцева: поближе узнавать своих солдат. Подполковник Кутузов звал гренадер к себе в палатку и подолгу, запросто беседовал с ними о доме, о семье.

При команде «вольно» гренадеры начали проворно ставить ружья в козлы, оживленно переговариваясь:

— И до чего пить хочется! Теперь, кажется, напился бы даже ихней «язвы». («Язвой» солдаты звали язьму, любимый татарский напиток из разбавленного водой кислого молока с тертым чесноком.)

— Тьфу, пакость! Словно в прогорклую простоквашу натолкли мелу!

— Буза¹ у них лучше!

— А ветер сегодня какой горячий, ровно из бани, — говорил гренадер, снимая гренадерку и вытирая потный лоб.

— Эх, жалко: нашей русской баньки нет!

— И так паришься кажинный день! Айда, ребята, в тенек! — сказал капрал.

И гренадеры побежали в тень пригорка к мишеням.

— Вот моя пуля! — тыкал пальцем в белую полоску мишени один гренадер.

— Ты брат, ловок только ружейные приемы отхватывать, а в стрельбе еще слаб! Твоя вон где! — садясь, хлопнул по земле капрал.

Все рассмеялись, рассаживаясь на выжженной, желтой и жесткой траве.

— На такой травке-муравке не разлежишься!

— Да, здешнее сенцо не возьмешь в руки: пальцы сразу наколешь.

— И скажи, как только его скотина ест?

— Верблюд жрет за милую душу. У него язык и губы жесткие, ему хоть бы что: бурьян так бурьян!

— Верблюд — скотина особая. У него все иное. И ревет он ровно дитя, и зрак не такой, как, скажем, у коня.

— У коня зрак веселый. Конь человека любит. А энтот горбатый черт смотрит на тебя как на недруга, с презрением.

— Братцы, а я вчера видал, как в деревне вола подковывали.

— Да ну?

— Ей-богу! Связали сердешному ноги, опрокинули на спину. И лежит вол — ноги кверху...

¹ Буза — пиво из проса.

— И на сколько же подков ковали?

— На восемь.

— Чтоб ему по горам способнее было ходить...

Офицеры — командир роты, капитан и восемнадцатилетний голубоглазый подпоручик — стояли вместе с подполковником, сняв гренадерки.

— Ну как, Павел Андреевич, привыкаете? — спросил Кутузов у своего любимца подпоручика Резвого, который недавно прибыл в армию.

— Привыкаю, господин подполковник.

— С ним вчера приключение случилось, — улыбнулся капитан.

— Какое?

— Да что там!.. — покраснел подпоручик.

Кутузов весело смотрел на обоих.

— Расскажите, расскажите!

— Наш Ахметка, что поставляет барашков, позвал подпоручика в гости... — начал капитан.

— И вовсе не в гости. Я хотел купить у него медный кунган.

— Ну и что же?

— Я вошел в хату, а в углу — две молодые татарки стоят. Без покрывал. Увидели меня, прижались друг к дружке и скорее платком завесились. Держат перед глазами платочек и из-под него выглядывают. А тут старуха — как вскочит в хату, как закричит на девушек! Накинула на обеих покрывало и потащила вон...

— И вот теперь наш Павел Андреевич влюбился... Хочет идти второй кунган торговать, — шутил капитан.

— Да полноте вам, Иван Егорович!

Подполковник улыбаясь смотрел на покрасневшего подпоручика.

— Что же это наш Брусков замешкался? Пора бы уж!.. — переменял разговор Кутузов.

Он оглянулся на белевшие в степи палатки лагеря. По пыльной дороге тащилась одна длинная татарская мажара, запряженная буйволами. Ее громадные, неуклюжие колеса раздражающе, немилосердно визжали. Татары не мазали своих телег, говоря, что только плохой человек въезжает в деревню потихоньку... И вдруг, перебивая отвратительный визг мажары, из лагеря донесся призывный звук генерал-марша: тревога, поход! Подполковник Кутузов оживился.

Генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков был хлебо-солный московский барин и меньше всего полководец. Это не Румянцов и не Суворов. От тех можно всего ждать: подымут и среди ночи только затем, чтобы приучить войска к ночным походам. А Долгоруков воюет по старинке. Значит, тревога не для пробы, а на самом деле.

— Становись! — крикнул Кутузов.

Рота мигом построилась.

— Бегом! — скомандовал подполковник и первым легко победил к лагерю, который уже весь пришел в движение.

Тревога была основательной. Генерал-аншеф Долгоруков получил неприятное известие: турецкий сераскир-паша Гаджи-Али-бей высадил у Алушты с кораблей большой десант в пятьдесят тысяч человек.

Турки подняли восстание татар. Надо было поскорее уничтожить десант, чтобы восстание не распространилось по всему Крыму.

Саиб-Гирей оказался предателем. Он помогал туркам высаживаться и сразу же арестовал и передал туркам русского резидента — статского советника Веселицкого.

— Как волка ни корми, он в лес глядит!

— Да. Сказывают, турки уже высаживались в течение целой недели.

— Я-то смотрю, чего это татары разносились. Бывало, тащатся на осликах в арбе, а то все сигают верхами, — обсуждали новость офицеры.

К полудню 18 июля 1774 года от лагеря остались только следы, где стояли палатки и были коновязи кавалерии. Долгоруков со всеми своими силами — девятью батальонами пехоты и двумя конными полками — скорым маршем двинулся к Алуште, где, по слухам, сильно укрепился Гаджи-Али-бей.

II

Дорога сначала не представляла трудностей: шли глубокой степной балкой. Наверху осталась скудная, каменистая, выжженная солнцем степь. А здесь зеленели деревья и к дороге подбегали кусты орешника, кизила, жасмина. Иногда через балку переливался тоненькой серебряной струйкой небольшой ручеек и исчезал где-то в кустах.

Гор еще не было.

Далеко на горизонте синел Чатырдаг, похожий на гигантский стол. Но с боков долину сжимали степные обрывы, кое-где отвесные, как стена.

Идти было все-таки легче, нежели по открытой, голой степи, дышавшей зноем.

Так прошли около двадцати верст. День клонился к вечеру. И вдруг шедшие в авангарде московские гренадеры Кутузова увидели, что степная балка кончается и дорогу сжимают горы.

— И скажи, кто понастроил эти горы? — подымая вверх головы, удивлялись солдаты.

— Да, без них шли бы свободнее!

— Кабы туда взобраться, все легче было бы...

— А ты еще попробуй взобраться, тогда и говори! — усмехались старики.

Двигаться ночью по горам было во всех отношениях трудно и неудобно.

— Стой! — скомандовал Кутузов.

И мгновенно от одного конца походной колонны до другого пронеслось это: «Стой!»

Люди и лошади, уставшие за день, остановились с удовольствием.

Подполковник Кутузов поехал к генерал-аншефу Долгорукову, который следовал в середине колонны. Командующий армией согласился с мнением подполковника Кутузова и приказал становиться на ночлег.

В свежем вечернем воздухе особенно четко звучали людские голоса, ржание коней. Уже трещали под топорами кусты, которые рубили для костров, и звенели ведрами разыскивающие воду артельные старосты, готовясь варить кашу. А некоторые солдаты, измученные целодневным походом, не дожидались ужина и укладывались тут же, у своей ружейной пирамиды или у лафета пушки под густым южным небом.

Темнота все сгущалась и все плотнее накрывала балку, смешивая гренадер и мушкатер, карабинеров и гусар. И в этой темноте еще ярче становились огни весело горевших костров.

Генерал-аншеф собрал у себя в палатке командиров. Он не хотел рисковать — двигаться со всей своей армией в горы. Чтобы не оказаться зажатыми среди ущелий, Долгоруков решил оставить на месте два батальона пехоты и два полка кавалерии прикрывать тыл. А остальным семи пехотным батальонам произвести поиск на Алушту.

Он рассказывал о своем плане собравшимся.

— Вам, Валентин Платонович, — обратился Долгоруков к генералу Мусину-Пушкину, — я поручаю сделать поиск. Лазутчики говорят, что визирь устроил где-то по дороге, в горах, передовое укрепление. Вы постараетесь занять его, но дальше пока не предпринимайте ничего: главный лагерь у Алушты защищают семь батарей. А я с двумя батальонами пехоты останусь здесь, чтобы вы были спокойны в спине.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

— Всю конницу я оставлю при себе: с ней в горах все равно делать нечего. Наши кони — не ихние, татарские, которые скачут по горам, как козы. Жаль, что не у всех господ командиров местные кони!

— У Михаила Илларионовича хороший конь, — похвалил Мусин-Пушкин.

— Да, настоящий горский, — подтвердил подполковник Кутузов.

— Он вас в горах вывезет, — сказал командующий. — Вот и все, господа. А теперь — отдыхать!

Румянцов тут же, у походного костра, собственноручно написал бы приказ, а Долгоруков, этот хлебосольный московский барин, а не полководец, никакого письменного приказа генералу Мусину-Пушкину не дал. Он писать не любил и часто говаривал: «Я человек военный и в чернилах не окупай!»

И командиры разошлись по своим частям.

III

Генерал-поручик Мусин-Пушкин выступил в поход еще до зари: предстояла самая трудная часть пути.

Московский гренадерский шел в авангарде. Подполковник Кутузов ехал вместе с проводником Ахметом впереди гренадер.

Войска вступили в ущелье. Пехоте сразу же пришлось перестроиться: гренадеры едва проходили по четыре в ряд. Узкую, тесную дорожку с обеих сторон крепко сжали горы, все склоны которых были покрыты лесом.

Дорога шла то вверх, то вниз, извиваясь вокруг горы. Она кружила, петляла. Одно и то же место проходили по несколько раз. Вот дорога идет под нависшим уступом скалы, напоминающим кусок сломанной арки. А через полчаса ту же арку русские солдаты видят уже где-то внизу.

Под ногами хрустел осыпающийся мелкий щебень или стучал твердый, чистенький, словно отполированный, плитняк.

Несмотря на то что солнце еще не взошло и не было жарко, с солдат уже катил пот. Пехота шла напряженно, как по льду, то и дело скользя. Кони ступали осторожно, прижав уши. Единороги двигались сегодня медленнее, осмотрительнее: ездовые боялись засесть в какой-либо расщелине или свалиться с гаубицей в ущелье. В одном месте, у поворота, проводник Ахмет вдруг осадил коня.

— Что такое? — оглянулся своими быстрыми, зоркими глазами Кутузов. Он все время ехал, настороженно глядя вперед — нет ли где засады? И не очень доверял проводнику-татарину.

— За поворотом начинается такая дорога! — закрутил головой Ахмет и стал слезать с коня. — Надо подтянуть подпруги!

Кутузов дал знак. Гренадеры остановились. Приказ «остановиться» облетел с быстротой молнии всю колонну русских войск, все эти две тысячи восемьсот пятьдесят человек пехоты. Люди охотно остановились, снимая гренадерки, вытирая потные лица и шеи. Артиллеристы подкладывали под колеса единорогов камни, чтобы гаубицы не катились назад.

— Молодая! — говорил канонир, поглаживая свою гаубицу. — Вместе со мной на службу поступила.

— Ты гляди, хорошо ли подложил? Еще сунется под гору, — не шутя заметил ефрейтор.

— Не сдвинется, дяденька. А кабы сорвалась, беда! — глянул вниз солдат.

— Тебя ждать не стала бы! — засмеялись товарищи.

— Зачем остановились? Турки? — спрашивали сзади.

Как бы в ответ им из авангарда шло по цепи:

— Артиллерии и верховым: подтяни подпруги!

Михаил Илларионович слез и внимательно осмотрел, исправно ли у него седло.

А гренадеры, отдыхая, переговаривались:

— А нам что осмотреть?

— Подметки...

— До чего насклизли — идти нельзя!

— Тебя бы, Павлуша, подковать, как того вола, восемью подковами, ты бы легче пошел!

— А что, думаешь, худо было бы?

И вот колонна тронулась дальше.

Обогнули отвесную скалу, которая тянулась вверх, как стена. Сквозь кусты можжевельника внизу глянулась пропасть, а дальше шла такая невысимо крутая тропинка, что Михаилу Илларионовичу стало не по себе.

Извилистая тропинка вся была завалена камнями. Она лепилась у горы по самому краю обрыва. По ней не пройти и трем человекам.

— Справа по двое! — обернулся Кутузов.

«А как же тут пройдут двенадцатифунтовые гаубицы?» — подумал он.

Колонна стала спускаться. Из-под ног гренадер сыпались камни и с глухим шумом падали в пропасть.

Кутузов невольно оглядывался: а его гренадеры все целы?

Тропинка все суживалась, а иногда и вовсе пропадала. Крепконогий маленький горский конь Михаила Илларионовича шел твердым шагом, не останавливаясь. Кутузов бросил поводья: он чувствовал, что конь лучше его знает, как идти по такой невысимоной дороге.

«Хорошо, что сухо. А если бы дождь? Тогда тут не пройти!»

Пробирались по краю скалы. Внизу — страшно взглянуть — чернела пропасть. Кони здесь чуть шли, цепляя нога за ногу; иногда садились на крупы. Одно малейшее неосторожное движение, и конь с всадником неминуемо летели бы в бездну.

Ахмет громко понукал своего коня, свистел, подбадривая его. Конь неохотно шел впереди. Голос Ахмета звучно отдавался в молчании гор.

«Уж не подает ли он знаки своим сородичам?» — подумалось Кутузову.

Колонна двигалась очень медленно. Трехфунтовые гаубицы еще кое-как прошли, а двенадцатифунтовые, «новой пропорции», пришлось тащить солдатам на канатах.

Солнце уже поднялось, когда вышли опять на более сносную, широкую дорогу.

И вот тут солдаты увидели — казалось, до них рукой подать — величественные горы: справа широко раскинул свою плоско-верхую палатку четырехугольный Чатырдаг, опоясанный облаками. А слева — подымала красноватые голые изломы громадная Демерджи. Демерджи была похожа на женщину, закутанную в чадру, которая сидит высоко, над самой бездной.

Кутузов невольно залюбовался этим великолепием, но Ахмет уже указывал ему на другое.

— Тырда-тарла! — говорил он, показывая пальцем. — Земляной вал. Турки!

Верстах в полутора было расположено передовое турецкое укрепление. Турки насыпали вал и укрепили его камнями.

Они ждали русских.

Место для обороны было выбрано удачное: с двух сторон шли крутые каменные стремнины. Обойти врага не представлялось никакой возможности. Сзади за укреплением виднелись невдалеке плоские крыши татарского селения.

— Какая это деревня? — спросил у Ахмета Кутузов.

— Шумы.

— До моря далеко?

— Недалеко.

Кутузов слез с коня. Ноги от напряжения дрожали.

Гренадеры становились в каре.

Русская пехота и пушки выходили на дорогу.

IV

Над Чатырдагом, высоко в небе, парили орлы: их потревожили выстрелы. Уже два часа в горах, не умолкая, гремели громы. Русские гаубицы били по турецким укреплениям у деревни Шумы. Турки отвечали.

К грохоту орудий присоединялась частая ружейная трескотня. Обойти турок было нельзя. Приходилось атаковать сильно укрепившегося врага в лоб.

Сидя за надежным каменным укреплением, турки яростно защищались. Русская пехота медленно продвигалась вперед. Уже были убитые и раненые. К генерал-поручику Мусину-Пушкину,

стоявшему со своим адъютантом за грудой камней, подошел командир московцев, коренастый подполковник Кутузов:

— Ваше превосходительство, надо ударить в штыки. Время идет, а толку никакого. Наши ядра мало вредят басурманам. В этой перестрелке мы потеряем больше, чем в штыковой атаке!

— Пожалуй, вы правы, — согласился Мусин-Пушкин. — Но басурман ведь втрое больше, чем нас!

— Ничего, не устоят. Позвольте лишь начать. Мои гренадеры ближе всех к туркам. Я ударю первый, а вы поддержите!

— Ваши гренадеры действительно дерутся, как старые солдаты. Ну что ж, давайте. С Богом! — согласился Мусин-Пушкин.

Кутузов спокойно вернулся под свинцовым дождем турецких пуль к своему батальону.

Несколько минут у московцев шли приготовления. А потом они вдруг с распущенным знаменем и барабанным боем кинулись на турецкий ретраншемент. В первый момент турки, не ожидавшие такого смелого приступа, опешили. Но московцы еще не успели добежать до турецкого укрепления, как турки опомнились и засыпали их пулями. Гренадеры приостановились было на полдороге, и кое-кто из них стал укрываться за камнями.

Тогда подполковник Кутузов выбежал вперед и с криком: «За мной, ребята!» — бросился к турецкому редуту.

Гренадеры подхватили «ура!» и в один миг достигли турецкого вала. Вслед за ними ударило в штыки и правое крыло. На валу в числе первых показалась крепкая фигура подполковника Кутузова.

И тут турецкая пуля сразила храброго командира московцев — Кутузов упал. Но дело было сделано: янычары дрогнули и побежали к Алуште, где белели паруса их фрегатов и ждали семь больших батарей.

...Подполковник Кутузов лежал в тени, у фонтана Сунгусу. Вся его голова была забинтована.

Генерал-поручик Мусин-Пушкин со своими старшими офицерами и капитаном московцев Завалишиным стояли поодаль у кипариса и тихо переговаривались. Генерал расспрашивал лекаря, который все время находился при раненом, а теперь пришел доложить генералу о состоянии здоровья подполковника Кутузова:

— Ну как?

— Пуля угодила между глазом и виском. Прошла через всю голову...

— Жив останется?

— Не могу знать, ваше превосходительство. На все воля Божья.

— Глаза целы?

— Левой смотрит как надо быть, а правый запух.

— Жалко, если повредится. Глаза у Михайлы Илларионовича такие зоркие, — пожалел капитан Завалишин, — давеча орла уви-

дал раньше всех. Никто не мог приметить, а он показывает: вон — орел над горами!

— А теперь что — спит?

— Находится в забытии, ваше превосходительство.

— Хорошо, что турецкая пуля, а не татарская баларма, — сказал секунд-майор Шипилов.

— А что такое баларма? — спросил генерал.

— Это, ваше превосходительство, две небольшие пули, прикрепленные друг к дружке медной проволочкой, собранной в спираль. При выстреле проволочка растягивается и получаются две раны. Да, кроме того, и проволочка дает рану. Подлая штука!

— Ну и турецкая немало беды натворила! Как чуть начнет солнышко спускаться, отправить подполковника Кутузова в лагерь к командующему! — приказал лекарю генерал-поручик Мусин-Пушкин.

Через несколько часов от шумлинского водопада к Акмечети отправилась экспедиция. Четверо гренадер бережно несли на носилках своего тяжело раненного командира. Сзади шли потрясенный случившимся подпоручик Резвой и проводник Ахмет с двумя лошадьми.

За ними следовало целое капральство москочцев.

— И скажи, как получилось: больше недели тому назад турки замирились, а только сегодня об этом в Алуште узнал сераскир!

— Кабы на сутки раньше пришел естафет, никакого боя не было бы!

— И наш Михайло Ларивонович был бы невредимый! А так кто знает, что будет?.. — сокрушались гренадеры.

Глава третья

ЖЕНИТЬБА

Знать, к мученью я влюбился,
Знать, мне век несчастну быть,
И на то ль мой дух вспалился,
Чтоб в тоске всегдашней жить.

Н. Курганов

I

Второй день в Петербурге стояла непогода. Хотя сентябрь только еще начинался, но уже по-осеннему было пасмурно и неуютно.

На город навалились низкие серые тучи — вот-вот польет дождь. Ветер крутил с разных сторон, а в полдень наконец установился — стал с бешенством налетать на город с залива.

Нева вздулась и помрачнела.

На Петропавловской крепости и Адмиралтействе трепыхались флаги. Корабли на Неве, еще вчера убравшие паруса, взлетали на свинцовых валах, как на качелях. Деревья Летнего сада гнулись и шумели. Под яростным напором ветра летели на землю сломанные ветви. На улицах редкие прохожие старались поскорее укрыться в дома: ветер валил с ног.

Вечерело. В Преображенском, всей гвардии соборе ударили ко венощной. Колокольный звон слышался приглушенно: его относил ветром.

Михаил Илларионович, не зажигая огня, в раздумье ходил по комнате. Читать он не хотел — боялся натрудить глаза.

После боя у Шумы прошло три года. Подполковник Кутузов чудом остался жив. Не только вся русская армия, вся Европа изумлялась и никогда не поверила бы в это, если бы сама не увидала Кутузова.

Когда Кутузов, немного оправившись от раны, приехал в Петербург, императрица приняла его, наградила орденом Георгия 4-й степени и 1 января 1776 года отправила лечиться за границу, «на теплые воды».

Кутузов лечился в Лейдене, где был знаменитый медицинский факультет, и целый год прожил в Европе, путешествуя по Германии, Англии, Голландии и Италии. Живя за границей, Михаил Илларионович имел возможность встречаться со многими видными людьми. В Берлине его принял прусский король Фридрих II, в Вене — знаменитый генерал Лаудон.

Европейские врачи приказали беречь глаза, не утомлять их. После ранения правый глаз стал видеть плохо — как сквозь кисею. Поэтому Михаил Илларионович, любивший книги, вынужден был пока читать поменьше и старался заняться чем-либо иным. Сегодня утром он ездил с отцом на Глухой проток.

Чтобы предупредить разлив Невы, императрица Елизавета приказала устроить на месте Глухого протока канал. Проект канала она поручила сделать известному инженер-полковнику, ученику Брюса, Иллариону Матвеевичу Кутузову, которого за ум все звали «разумной книгой» и который построил Кронштадтский канал Петра I. Кутузов сделал проект, но строить канал пришлось уже при Екатерине II.

Новый канал назвали в честь императрицы Екатерининским и, так же как на набережной Невы и Фонтанки, приступили к облицовке его берегов камнем.

И вот теперь Илларион Матвеевич тревожился, что ветер нагонит воду с залива и размочит не одетые камнем берега Екатерининского канала. Илларион Матвеевич вернулся домой удрученный: вода в канале стояла высоко, если ветер не утихнет, то к ночи мож-

но ждать наводнения. Уже и теперь берега стали обсыпаться. Озаченный, Кутузов пообедал и лег отдохнуть.

А сыну не хотелось спать. Молодой Кутузов вообще не мог понять, зачем старики ложатся после обеда отдыхать: разве мало им для этого ночи?

Он ходил и думал не о канале и наводнении, а о том, удобно ли сегодня сходить к Бибиковым, которые жили неподалеку, или нет. Пойти к ним Михаилу Илларионовичу очень уж хотелось.

Инженер-генерал Илья Александрович Бибиков, сослуживец и приятель отца, считался лучшим военным инженером и одним из самых образованных генералов русской армии. Он укреплял украинскую линию — Таганрог, Кизляр, Бахмут, затем служил начальником Тульского оружейного завода. Бибиков уже более десяти лет жил в отставке, но в свои восемьдесят лет сохранил ясность ума и был интересным собеседником. У старика инженера можно было многому поучиться.

Однако не это тянуло молодого Кутузова: у Ильи Александровича была дочь от второго брака — Катя.

Михаил Илларионович знал Катю с детства. Он был на девять лет старше ее и потому привык считать Катю девочкой, тем более что ростом она никогда похвастать не могла и всегда была худенькая и маленькая, но живая.

В годы ученья в Инженерном корпусе, когда Мише было пятнадцать лет, а Кате шесть, Миша держался с Катей снисходительно и дразнил ее «мышкой», а она не оставалась в долгу и звала его, конечно же, «Мишка-медведь».

Потом Миша уехал в армию и несколько лет не был в Петербурге. Приехав как-то в отпуск домой, он с удивлением обнаружил в «мышке» большую перемену. Миша увидал, что Катя превратилась из невзрачной девочки в миловидную барышню. Она все так же была невелика ростом, но грациозна. У нее оказались (раньше Миша как-то не обращал на это внимания) прекрасные черные «бибиковские» глаза. И вдобавок ко всему Катя была умная девушка.

Она смеялась над княжной Сукиной, которая на ее вопрос, что она читает, ответила: «Я — голубенькую, а сестра — розовую книжечку».

Встретившись после многих лет разлуки с другом детства, Катя зарделась. Миша уже никак не дразнил Катю, а был к ней отменно внимателен. После этой краткой встречи Катя запомнилась Кутузову, и он думал о ней с нежностью. А сейчас, вернувшись из-за границы, он два месяца прожил в Петербурге, видался с Катей, узнал ее ближе и теперь понял, что влюблен в нее по-настоящему.

Михаил Илларионович старался под тем или иным предлогом чаще бывать у Бибиковых. Лучшим предлогом был старший брат Кати Василий, с которым Михаил Илларионович учился в Инже-

нерном корпусе и дружил. Правда, последние годы друзья встречались редко: Василий Бибиков пошел не по военной дороге — он с детства пристрастился к театру.

Императрица Екатерина любила театр, покровительствовала ему. «Народ, который поет и пляшет, зла не думает!» — говорила она. Свою любовь к театру Екатерина старалась привить всем. Она заставила членов святейшего Синода посещать итальянскую оперу и в письме к Гримму так потешалась над монахами, которым волей-неволей пришлось насладиться «мирским» развлечением:

«Святейший Синод был на вчерашнем представлении, и они хохотали до слез вместе с нами».

По примеру Петра I она посылала русских детей учиться за границу. Петр слал в Европу артиллеристов и корабельщиков, Екатерина — «танцовальщиков» и актеров. Императрица сама писала (хотя и не лучше других доморощенных драматургов) пьесы. Трагедии и разные комедии «в улыбатальном духе» стали повсеместным увлечением, начиная от придворной знати и кончая мастеровыми. На пустыре за Малой Морской улицей был открыт частный любительский театр, в котором играли желающие — переплетчики, наборщики, портные и иной рабочий люд.

Василий Бибиков играл на придворной сцене и, так же как многие другие актеры-любители, писал пьесы, потому что своих еще было мало — ставили большею частью переводные.

Императрица оценила его любовь к театру и рвение и назначила заведовать русской придворной труппой.

Это пристрастие старшего брата передалось Кате. Она в десять лет выступала уже в числе любителей на придворном спектакле во дворце. С тех пор Катя бредила Лекеном и Гарриком и была без ума от Дмитревского.

Михаилу Илларионовичу нравилось в Кате даже это увлечение — он сам любил театр.

Кутузов ходил по комнате и с улыбкой вспоминал, как первое, о чем спросила Катя у него после приезда из-за границы, было: «А в Париже не были? Клерон и Дюмениль не видали?»

И вот теперь он думал: идти ли сегодня к Кате или неудобно? «Вчера ходил, позавчера ходил, третьеводни ходил... Пожалуй, нельзя. Лучше завтра: завтра воскресенье...» — убеждал один, рассудительный, голос.

А второй не менее рассудительно напоминал, что два месяца тому назад Михаила Илларионовича произвели в полковники, назначили командовать Луганским пикинерным полком и что уже в воскресенье вечером надо отбывать к полку. Остались всего лишь сутки.

«Э, схожу!» — решил Кутузов, схватил плащ и треуголку и вышел из дому.

По 3-й Артиллерийской улице, где жил инженер-генерал Биби-ков, ветер гнал тучи пыли и мусора. Где-то хлопала калитка. Редкие прохожие, солдаты-артиллеристы, служители с пушечного двора, торопились по домам. Михаил Илларионович пригнул от ветра голову и, придерживая рукой шляпу, осторожно пошел по улице.

Вот длинный желтый дом Татищева, а за ним синий, бибииковский.

У дома Кутузов с неудовольствием увидел карету и сразу же догадался чья: Жана Рибопьера.

Швейцарец лейтенант Жан Рибопьер оставил свое милое отечество и приехал искать счастья в дикой, суровой России. Счастье сопутствовало ему: он привез изящно написанное рекомендательное письмо Вольтера к императрице Екатерине.

Рибопьер обладал парижскими манерами, был бесспорно красив и так же бесспорно ловок и хитер. Его тотчас же повесили в чине и стали звать «Иван Степанович». Он был принят во всех лучших домах столицы, где очаровал девушек и дам. Но ухаживал швейцарец за одной — племянницей Кати, красавицей фрейлиной Аграфеной Александровной Бибииковой.

Бибииковы — старшее поколение — невзлюбили пронырливого, льстивого швейцарца. Да и считали они, что родниться с иностранцами нехорошо.

Груня же была более снисходительна к нему и не гнушалась его общества.

Михаил Илларионович сразу раскусил заморского гуся: «Карьерист и интриган!» Но держал свое мнение при себе и ничуть не уступал Рибопьеру в вежливом с ним обхождении.

Очевидно, Груня приехала с Рибопьером к своей ровеснице и подружке «тете Кате» (она была дочерью сводного брата Кати, известного вельможи Александра Ильича Бибиикова, посланного Екатериной усмирять Пугачева и умершего скоропостижно весной 1774 года).

Михаилу Илларионовичу встреча с Рибопьером была неприятна. Он еще никак не мог примириться с мыслью, что у него поврежден правый глаз, и чувствовал себя весьма неважно. При разговоре с кем-либо приходилось все время помнить о том, чтобы собеседник находился слева, а не справа. Кутузову казалось, что все с любопытством смотрят на его глаз, что он словно какой-то монстр. Нужна была большая выдержка, чтобы оставаться веселым и непринужденным. Особенно когда рядом с тобой такой красавчик, у которого ни единой царапинки на выхоленном лице.

Катя как будто бы не обращала никакого внимания, никогда словом не обмолвилась о Мишиной ране, точно ее не было. Михаилу Илларионовичу хотелось думать, что для Кати он все такой же, каким был раньше (он помнил, что в детстве Катя хорошо относилась к нему).

Михаил Илларионович собирался поговорить с ней о своих чувствах, но откладывал со дня на день: боялся отказа, хотел проверить, правильно ли он полагает, что не противен Кате. К тому же всегда кто-нибудь мешал разговору. У Бибиковых вечно толкался народ — актеры, любители-театралы, приехавшие к Василию Ильичу. Катя, конечно, сидела тут же. По натуре она была человеком общительным, а театр ее очень интересовал.

Идучи к Бибиковым, Михаил Илларионович думал: погода плохая, авось сегодня никого чужого не будет.

И вот — нате!

Делать нечего. Кутузов взошел на крыльцо.

Старый денщик генерала уже широко распахнул перед ним дверь:

— Пожалуйста, ваше высокоблагородие!

В вестибюле стояли готовые к отъезду Груня и щеголеватый Рибопьер. Они, видимо, ожидали кого-то.

«Слава Богу, уезжают!» — подумал Кутузов.

Но не успел он поздороваться с ними, как по лестнице застучали каблучки и со второго этажа, где помещалась бибиковская молодежь, быстро сбежала оживленная Катя.

— Мы едем к Груне репетировать «Нанину» Вольтера, — сказала она, протягивая руку Михаилу Илларионовичу. — Я играю Нанину, а Иван Степанович — графа.

— Ну что ж, это прекрасно! — ответил Кутузов, хотя понял, что все надежды на разговор сегодня пропали.

— Поедемте с нами! — предложила Груня.

— Миша никуда не поедет, — раздался сбоку голос Ильи Александровича Бибикова.

Старый генерал стоял на пороге своего кабинета, расположенного на первом этаже.

— Он останется со мной. Куда еще ехать? Вон какой ветер. Того и гляди наводнение станет.

— Дедушка, если будет наводнение, то и Артиллерийские улицы зальет, — возразила, оборачиваясь к нему, Груня.

— Нет, Артиллерийские выше, чем ваша Конюшенная. К нам вода не достанет.

— Папенька, ежели случится наводнение, Миша меня спасет: приедет за мной на лодке. У них ведь на Фонтанке лодка есть. Правда, Миша, приедете? — спросила, кокетливо поглядывая, Катя.

— Приеду! — ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович.

— Ну, адьё!

Катя помахала ручкой и выпорхнула на крыльцо.

За ней вышли Груня и Рибопьер.

Михаил Илларионович остался коротать вечер со стариком.

II

Молодой Кутузов просидел у Бибиковых за беседой до одиннадцати часов ночи. Илья Александрович, как всегда, рассказывал много интересного о Семилетней войне, об австрийском фельдмаршале Лаудоне.

Михаилу Илларионовичу, который знал Фридриха II и Лаудона, было смешно представить, как прусский король, увидав впервые генерала Лаудона, сухошавого человека с громадными черными бровями, сказал приближенным: «Физиономия этого господина мне не нравится». Король как будто предчувствовал, что этот скромный генерал будет способствовать страшному поражению пруссаков при Кунерсдорфе.

Когда Кутузов собрался уходить, Илья Александрович дал ему в провозатые лакея с фонарем: на улице была непроглядная тень. Ветер погасил те немногие фонари, что горели у некоторых домов. К ночи он не только не ослабел, но еще посвежел — рвал с необычной силой.

Где-то за Невой тревожно выли собаки.

«Видимо, придется в самом деле спасать Катю на лодке, — думал Михаил Илларионович, идучи следом за лакеем, несшим фонарь. — Не смыло бы нашу лодку на Фонтанке».

Ночь Михаил Илларионович спал тревожно. Он проснулся, чуть брезжил рассвет. С Петропавловской крепости били пушки.

Михаил Илларионович оделся — надел шинель и картуз вместо треуголки — и вышел из дому. У калитки стояли дворник, кучер, лакей и денщик молодого барина Иван, рязанский парень, никогда не выдавший ничего подобного. Он, должно быть, ходил смотреть, как разливается Нева, и теперь делился впечатлениями и новостями.

— Вода уже пошла по верху невской каменной набережной. Сказывают, давеча сорвало с якоря корабль, он перемахнул через набережную и проплыл мимо Зимнего дворца... А любский, груженный яблоками, швырнуло в лес на Васильевский остров. А на Проспективной что делается! Не приведи Бог! Не улица, а река: шлюпки, боты плавают, — говорил он с увлечением.

— Гляди, и до нас скоро доберется, — опасно косился лакей.

— Не дойдет, не впервой! — авторитетно возразил старый дворник.

— А нашу лодку на Фонтанке не сорвало с цепи, не унесло? — спросил, подходя к ним, Кутузов.

— Да я на ней только что ездил, — ответил Иван.

— Тогда поедем со мной. И еще кто-нибудь, — обернулся он к дворовым.

— Я поеду, — откликнулся кучер.

— Хорошо.

Михаил Илларионович быстро пошел по направлению к Фонтанке. Где-то в церкви не то звонили к ранней обедне, не то били в набат. Возбужденный Иван шел рядом с полковником и все продолжал рассказывать:

— А один дом, ваше высокоблагородие, снесло с Адмиралтейской на тую сторону Невы. А сколько крыш посрывало!..

У самой Фонтанки им пришлось шлепать по лужам: вода понемногу просачивалась все дальше. Лодку увидели издалека. Она чернела непривычно высоко — так вздулась Фонтанка, — и столб, к которому прикреплялась цепь, уже почти скрылся под водой. Кое-как отцепили лодку. Михаил Илларионович сел за руль, а денщик и кучер — на весла.

Полноводную Фонтанку пересекли быстро, а затем двинулись напрямик через пустыри и дворы домов: деревянные заборы нигде не уцелели.

Было странно видеть дома, окруженные водой. Волны захлестывали опустевшие лачуги бедняков. Из окон вторых этажей барских особняков испуганно смотрели невыспавшиеся господа и слуги.

Кутузов правил к березкам Невской Проспективной, которые маячили в бледном утреннем свете. Часть из них была сломана яростным ураганом. Справа мрачно шумел Летний сад, над которым носились, крича, вороны. Грести было трудно — ветер дул с прежней яростью.

Вот наконец лодка выплыла на Невскую Проспективную улицу. Денщик не соврал: по ней плавали доски, заборы, какие-то сарайчики. Как по реке, по грозным волнам сновали лодки и морские шлюпки, спасавшие бедноту, лишенную жилья, и ее скудный домашний скарб. Мимо Кутузова проплыл, покачиваясь, подмытый стог сена.

Сквозь порывы ветра доносились крики о помощи, мычание коров, плач детей, звон разбитого стекла. И вместе с тем где-то так обычно и спокойно пел петух.

Проехали мимо Гостиного двора. Из нескольких магазинов купеческие молодцы грузили на лодки товар.

Дальше слева показалась церковь Рождества Богородицы. Она словно возникала из воды, как град Китеж. Волны хлестали в ее запертую дверь.

Свернули направо, к Конюшенной.

А вот и дом, где живет с матерью красавица Аграфена Александровна Бибикова.

Вода плескалась у самых окон высокого первого этажа. Еще один дружный напор ветра, и она прольется внутрь.

В доме не спали. Слышалось, как из первого этажа спешно подымали мебель во второй.

Кутузов подвел лодку к одному из окон и хотел уже окликнуть Катю, но вдруг сверху услышал ее удивленно-радостный голос:

— Груня, смотри, Миша приехал! Вот верный рыцарь!

Михаил Илларионович поднял вверх голову. Из полуоткрытого окна второго этажа на него смотрели вовсе не перепуганные Катя и Груня.

— Я здесь. Собирайтесь, Катя, поедemте домой — на Артиллерийской воды нет! — встал в лодке Михаил Илларионович, держась за подоконник. — Да и Груню забирайте!

— Груне надо во дворец: императрица ведь уже с вечера дома. Груня не хочет извиняться от дежурства. Вы сначала отвезите ее, а потом приедете за мной.

— Хорошо. Я готов.

Долго ждать Груню не пришлось. Она быстро собралась, сбегала в первый этаж, пока в нем еще не было воды, и через окно ловко прыгнула в лодку. Вслед за ней в окно передали чемоданы с фрейлинскими уборами.

— Спасибо вам, дорогой Мишенька! — высунувшись из окна, благодарила мать Груни Анастасия Семеновна.

— Приезжайте, я жду! — кричала вдогонку Катя.

Дворовые девушки смотрели из окна на свою красавицу барышню, которая не побоялась пуститься на лодке в такую бурю во дворец.

В Зимнем Михаил Илларионович благополучно сдал Груню придворным лакеям и отправился обратно. Ветер стихал. Вода стала заметно убывать.

— Навалитесь, ребята, а то и мы, чего доброго, застрянем с лодкой среди города, — сказал своим гребцам Кутузов, глядя, как засела на площади громаднейшая барка, которую выбросило из Невы.

Кате пришлось прыгать в лодку с большей высоты, чем Груне. Она даже на секунду замешкалась, стоя на подоконнике и в нерешительности глядя вниз, но Михаил Илларионович протянул к ней руки, и Катя с его помощью легко очутилась в лодке.

Назад ехать было легче и быстрее. Чтобы не засечь где-либо на мели, Кутузов сразу же постарался вывести лодку на Фонтанку.

Когда подъехали к своей пристани, столб уже возвышался над водой. Но ступеньки спуска были мокры и скользкие, и Михаил Илларионович предложил Кате снести ее на берег.

Катя согласилась.

Михаил Илларионович бережно взял на руки маленькую, легонькую Катю и вынес наверх. Он с удовольствием понес бы ее до самого дома, но Катя воспротивилась:

— Уже светло. Что подумают люди?

Она быстро, не оглядываясь, побежала к Артиллерийским улицам.

— Катенька, мне надо с вами поговорить... — начал Кутузов, когда они подошли к дому Бибиковых и остановились.

— Только не сейчас. Я ничего не слышу, не понимаю... Мы не спали всю ночь. Я так хочу спать, — капризным тоном сказала девушка, пряча зевоту.

Михаил Илларионович умел владеть собой — он не показал виду, что слова Кати ему очень неприятны.

— Но ведь я сегодня вечером уезжаю...

Катя почувствовала огорчение Михаила Илларионовича и переменяла тон:

— Вы же скоро приедете. Тогда и поговорим обо всем, не правда ли? Ведь к рождеству приедете, Мишенька, да? Приедете? — спрашивала она, ласково заглядывая ему в глаза.

— Постараюсь приехать! — ответил Михаил Илларионович, смягчаясь.

III

Как ни старался Михаил Илларионович исполнить обещание, данное Кате, — приехать к Рождеству, но ничего не поделаешь: служба! Смог вырваться домой лишь к февралю 1776 года.

Командующий легкой кавалерией Григорий Александрович Потемкин дал ему отпуск «для исправления домашних дел».

Кутузов хотел попасть домой к Масленой неделе, но Новороссия, где стоял Луганский пикинерный, — не близкий свет. Пока он тащился на перекладных, уже пришла — по календарю «сырная», по еде «блинная» — любимая масленица.

Каждый день широкой масленицы получил у народа свое название: понедельник звался «встреча», вторник — «заигрыш», среда — «лакомка», четверг — «тешины вечерни», пятница — «разгул», суббота — «золоткины посиделки», воскресенье — «проводы».

Сначала Михаил Илларионович думал поспеть домой к началу гулянья — к «встрече», чтобы это была встреча вдвойне, но за метелями и выюгами только в среду доставился в Тверь.

«Разгул» он проводил не с Катей, а в дороге, а «тешины вечерни» просидел не у гостеприимных Бибиковых, а на постоялом дворе у Новгорода, ожидая лошадей. И только поздно вечером в субботу он наконец приехал в Петербург.

— Сегодня я приглашен к Илье Александровичу на блины. Поедем вместе, — сказал в воскресенье Илларион Матвеевич сыну.

Молодой Кутузов весьма охотно согласился поехать в гости.

У Бибикова собрался тесный круг его ближайших друзей. Сам разносторонне образованный и умный, Илья Александрович подбирал себе таких же собеседников. Это были директор Морского корпуса генерал Иван Лонгинович Кутузов, женатый на старшей дочери Бибикова — Евдокии, сослуживец Ильи Александровича

генерал в отставке Николай Порфирьевич Быков и известный артист, «русский Росциус», Иван Афанасьевич Дмитревский.

Пока хозяйка Варвара Никитишна не приглашала еще к столу, Бибиков увел Иллариона Матвеевича к себе в кабинет покурить, а Михаилом Илларионовичем завладела Катя.

Катя встретила Мишу очень тепло, искренне обрадовалась его приезду. Михаил Илларионович не без удовольствия заметил, что Катя, увидев его, покраснела, — стало быть, он был ей небезразличен. Катя повела гостя в залу, усадила на диван и сама села рядом.

Тотчас же из соседней комнаты выплыла с вязаньем в руках старая тетушка Прасковья Ивановна, — считалось неприличным оставаться девушке с молодым человеком наедине. Тетушка поздоровалась с Мишей и продолжала вязать, не вмешиваясь в их оживленную беседу.

— Почему вы так замешкались? — спросила Катя. — Почему не приехали к Рождеству?

— И рад бы в рай, да грехи не пускают: полк!

— Ну, рассказывайте, что у вас нового?

— Какие новости у солдата? — невольно улыбнулся Кутузов — ему вспомнилось, как на такой вопрос всегда отвечают в армии: «Знай службу — плюй в ружье, да не мочи дула!» Но так же неприлично сказать девушке. — У вас новостей больше!

— У нас, правда, новостей хватает. Об одной вы уже, я надеюсь, слышали: Груня все-таки вышла за Рибопьера замуж, как мать ни была против.

— Что ж, не Анастасии Семеновне жить с Рибопьером, а Груне, — ответил Кутузов. — И увлечение театром у Груни уже прошло?

— Ничуть! Вскоре после свадьбы мы у них же играли «Привидение с барабаном». Затем, знаете, Мишенька, наша очаровательная Габриель чуть не уехала к себе в Италию.

— Это почему же?

— Она запросила у императрицы за оперный сезон десять тысяч рублей. Императрица ответила, что такое жалованье получает у нее только фельдмаршал. Тогда Габриель возьми и скажи: «Так пусть, ваше величество, фельдмаршалы и поют!» Хорошо, что императрица была в добром расположении и оставила без внимания эту дерзость.

Михаил Илларионович искренне смеялся.

— Это грубо, но право же, не лишено остроумия! А что же, некоторые из наших фельдмаршалов совсем неплохо поют, например, Румянцов, Потемкин. Да и у Разумовского голос хорош — недаром его брат на одном голосе карьеру сделал. Только у Александра Михайловича Голицына ни слуха, ни голоса. И на чем же все-таки примирились? — спросил Кутузов.

— На семи тысячах рублях.

— Не худо. Нет, Катенька, у вас в Петербурге веселее, чем у нас, в армии. Продолжайте, я вас с интересом слушаю!

— Самую главную новость вы тоже знаете, — продолжала рассказывать Катя. — Во вторник двенадцатого декабря у наследника Павла Петровича родился сын Александр. Петропавловская и Адмиралтейская крепости целый день палили из пушек. Можно было оглохнуть.

— Ничего не поделаешь: полагается салют в двести один выстрел, — шутливо развел руками Михаил Илларионович.

— И с той поры пошли у нас балы да маскарады, прямо отдыха нет. Вася рассказывал: императрица смеется — боюсь умереть от бесконечных обедов, придется заказать себе заранее эпитафию. Она так и написала Гримму.

— Жеманна матушка императрица, — улыбнулся Кутузов. — Теперь заказывать эпитафию нечего, а вот когда Пугачев шел на Москву, тогда приходилось о ней серьезно подумать, — добавил, понизив голос, Михаил Илларионович.

— А вы, Мишенька, я вижу, все такой же насмешник! — улыбнулась Катя.

— А как в петербургских гостиных, весело? — переменял тему Михаил Илларионович.

— Тоска смертная. На балах передвигают ноги и кланяются, а в вечерних беседах играют в бостон и фарао или говорят о модных шалях и чепчиках.

— Но все-таки ж не о погоде и городских происшествиях, а о предметах высоких чувств, — пошутил Кутузов. — А как кавалеры? Катя только махнула рукой.

— Один непрестанно хохочет, думая, что в этом состоит любезность светского человека, а другой развлекает дам, говоря о гальванизме, в котором не разбирается сам.

— Пожалуйте к столу! — послышался из-за двери голос горничной.

— Ну, пойдемте есть блины! — пригласила Катя.

Они встали.

— А знаете, он мне нравится: в нем удаль наша, русская! — сказала Катя, когда они спускались по лестнице в столовую.

— В ком удаль русская, в Гримме? — спросил, сдерживая улыбку, Михаил Илларионович, будто не понимая, о ком речь.

Катя рассмеялась.

— Да ну вас, какой там Гримм! В Пугачеве! А вы как думаете, скажите серьезно!

— Что ж, Пугачев, конечно, незаурядный человек! — уже совершенно серьезно ответил Кутузов.

IV

За блинами Катя спросила у Михаила Илларионовича:

— Миша, вы давно видали масленичные балаганы?

— Уж и не помню когда. В детстве.

— Поедем после обеда. Сегодня ведь последний день.

— Поедем! — обрадовался Кутузов.

Это было ему на руку. Он все время ждал случая, чтобы поговорить наедине. Тетушка, конечно, будет сопровождать их, но побоятся сесть на качели. Вот на качелях и поговорить с глазу на глаз!

Когда было покончено с блинами, Катя шепнула матери:

— Маменька, мы с Мишей чая пить не будем — поедем смотреть балаганы. Можно?

Варвара Никитишна разрешила им незаметно уйти из столовой.

— Только попроси тетушку сопровождать вас.

— Тетенька, милая, поедем! — приласкалась к Прасковье Ивановне Катя.

— Ну, поедем уж, что с тобой делать, баловница! — неохотно поднялась тетушка.

Гости продолжали сидеть у стола, оживленно разговаривая.

Они вспоминали молодость, военную службу. Дмитревский рассказывал о том, как он был в Париже и Лондоне.

Михаил Илларионович оделся, велел своему кучеру подать сани к крыльцу и ждал Катю и Прасковью Ивановну в вестибюле.

Катя выбежала в собольей шубке и беличьей шапке. Маленькая, верткая и черноглазая, точно белочка.

Кутузов залюбовался ею.

Сзади медленно плыла в лисьей шубе, точно попадья, тетушка.

Они сели в сани и поехали к Адмиралтейскому лугу, на котором устраивались все народные развлечения.

Погода благоприятствовала проводам масленицы: было безветренно и чуть морозило.

На улицах встречалось больше народа, чем обычно. Величественно проплывали роскошные придворные кареты, запряженные цугом, с нарядными гайдуками на запятках. Мелкой рысцой трусили чухонские лошаденки, украшенные бумажными розами. В их тесных санках едва умещалась честная компания ремесленников или чиновников с раздуряившимися барышнями. И с гиканьем и песнями мчались тройки. В розвальнях стояли, сидели и лежали подгулявшие бородатые купчики с приятелями, женами и детьми.

Масленичное катанье было в полном разгаре.

А издалека, от Адмиралтейского луга, уже доносился веселый, разноголосый шум. Когда они подъехали к Полицейскому мосту

через Мойку, где начиналась масленичная толчея, тетушка не стала вылезать из саней.

— Я не хочу. Я останусь, — сказала она. — Вы походите немного, а я лучше посижу...

— Хорошо, тетенька, мы быстро, — ответила Катя, выпрыгивая из саней.

Михаил Илларионович взял Катю под руку, и они направились к балаганам, у которых легко полоскались на ветру разноцветные флаги.

Адмиралтейский луг тонул в звуках: пронзительно свистели, верещали дудочки, рожки, свистульки; скрипели размашистые качели; заливалась, играла шарманка, тренькали балалайки, задорно бил бубен, ухал барабан.

Отовсюду раздавались назойливые зазыванья разносчиков, пьяные и просто веселые выкрики, хлопшечные, словно оружейные, выстрелы, девичий визг и восторженный детский смех.

Толпа, облепившая балаганы, была разношерстна и цветиста. Желтые и черные дубленые кожухи барской челяди мешались с зелеными шинелями солдат и мелкой чиновничьей сошки. И красными, синими, оранжевыми, фиолетовыми цветами пестрели среди них праздничные бабьи платки и полушалки. И тут же приплясывали на морозе оборванные нищие, выпрашивавшие грош на пропитание; слонялись опухшие присяжные пьяницы; толпились голодные крестьяне, пришедшие из далеких деревень за подаяннем в столицу. В стороне от этой толпы, не смешиваясь с «подлым» людом, стояли приехавшие посмотреть в лорнеты на масленичное веселье, безучастные к чужому горю барыни и баре.

Катя и Михаил Илларионович, не задумываясь, нырнули в пестрый, шумный, веселый людской водоворот.

— Я люблю зрелища! — говорила возбужденная общим весельем Катя.

Они протискались сквозь текучую, праздную праздничную толпу. Над их ушами кричали продавцы калачей, пышек, ароматного имбирного сбитня, меда, кваса. Во всю мочь дудели, свистели продавцы глиняных лошадок и деревянных свистулук. Тянули за рукав к своим ларькам торговцы конфет, пряников, орехов, царьградских стручков.

Но Катя устремлялась все дальше, к балаганам, к ледяной горе, возвышающейся над всем широким лугом.

Вот наконец первый балаган с красным кумачовым занавесом. И перед балаганом, на шатком дощатом балкончике, — дед-зазывала.

Он в сером кафтане, подпоясанном зеленым ямщичьим кушаком, в громадных лаптях, в лохматой, волчьего меха, шапке, об-

шитой красной тесьмой. У него длинная льняная борода и озорные голубые глаза.

Дед-завывала весело, молодым, двадцатилетним голосом кричит:

Эх, для ваших для карманов
Сколь понастроено балаганов,
Каруселей да качелей
Для праздничных веселий!
А ну, шевелись, веселись,
У кого денежки завелись!

— Заглянем к нему в балаган? — спросил Кутузов.

— Нет, у них самое интересное на виду, а не внутри. Мы походим, послушаем. Так будет разнообразнее и веселее, — ответила Катя, и они пошли дальше.

Возле следующего балагана такой же разбитной дед потешал, зазывал, но по-иному:

Задумал я жениться,
Не было где деньгами разжиться,
У меня семь дураков —
Медных пятак
Лежат под кокурою...
Сам не ведаю под которою...

Катя шла не останавливаясь.

— Подождем, послушаем, — предложил Михаил Илларионович.

— А вы что, не собираетесь ли жениться? — лукаво взглянула на него Катя.

— Собираюсь...

— Пойдем, пойдем! У него женитьба невеселая. У невесты вон какое приданое, слышите?

Они замедлили шаг. А дед под хохот толпы перечислял приданое своей невесты:

Липовых два котла, да и те прогорели дотла,
Сито с обечайкою да веник с шайкою,
Чепчик печальной из материи мочальной,
Кожаная самара¹ да рваных лаптей пара...

— А ведь этот дед не без ехидства, — улыбнулся Кутузов. — Заметили, как он сказал: «чепчик печальной». Это ведь последняя парижская мода. Так и называется: «чепчик печальный».

— Да. Есть еще чепчики «подавленных чувств» и «нескромных жалоб», — смеялась Катя. — Дед не отстает от века. Я ж говорила вам, что зазывалы интереснее прочего.

¹ Самара — долгополая одежда.

— Когда моя бабушка выходила замуж в одиннадцать лет, ей в приданое дали куклу, — вспомнил Кутузов.

Но Катя не поддержала разговора о свадьбе. Она была поглощена разворачивавшимся вокруг действием.

На их пути встал со своим ящиком с картинками рашник. Он издалека приманивал:

Подходи, народ честной и божий, шитый рогожей!
Подходи, мужик и барин, — всякой будет благодарен!

— Посмотрим? — спросил Кутузов.

И тут же сам невольно подумал: «Одним глазом неудобно смотреть...»

И Катя, словно поняла его мысль, ответила:

— Нет, не стоит — все знакомое: «Париж — угоришь», «Москва — золотые маковки... Успенский собор...» Это для детей хорошо.

— Может, покатаемся на карусели?

— Нет, лучше на качелях. Я люблю их — так дух и замирает. Но это напоследок. А теперь пойдем к Петрушке. Как же, быть на масленичном гулянье — и не повидать Петрушки? Я его очень люблю.

Они повернули и направились туда, где гнусавила шарманка. Перед ширмой петрушечника толпились ребятишки и взрослые. Из-за ширмы слышалось то кряхтенье, то какое-то кудахтанье.

И вдруг выскочил всем знакомый смешной Петрушка:

— Здравствуйте, господа. Я, Петрушка, пришел сюда повеселить всех, больших и малых, молодых и старых! — Он сел на барьер, застучал рукой: — Эй, музыка!

И тотчас же из другого угла ширмы появился музыкант — с громадным носом и скрипкой в руке.

В толпе засмеялись:

— Тальянец, тальянец!

— Что скажешь, Петрушка? — спросил музыкант.

— Я задумал жениться...

— А где невеста?

— Сейчас приведу!

Петрушка исчез за ширмой. Он вывел оттуда красиво одетую куклу.

— Смотри: хороша! Ручки, губки, шейка. Добыть такую сумейка. А пляшет как! Ну-ка, сыграй!

Музыкант заиграл «Камаринского». Петрушка пустился с невестой в пляс.

— Ну, дальше пойдет малопрстойное: Петрушка станет выбирать для невесты лошадь. Пойдем к качелям, — обернулась к Михайлу Илларионовичу Катя, и они пошли к перекидным качелям.

Когда они взлетели на качелях и стали стремительно падать вниз, Катя прижалась к Мише — стало все-таки страшновато.

И он невольно поцеловал ее в прохладную от легкого морозца румяную щечку:

— Катенька, моя дорогая! Катенька!

Катя полуобернулась к нему и сказала с укоризной:

— И обязательно целоваться на людях? Разве иначе нельзя?

— Значит, целоваться можно? Значит, ты любишь меня? — зашептал Кутузов, не выпуская Кати.

Он не чувствовал больше ни взлетов, ни падений.

— Люблю, Мишенька...

— Когда же повенчаемся?

— Это тебя все Петрушка подбил? — шутила Катя.

— Нет, я давно хотел сказать.

— Знаю, знаю. Но что же делать? Завтра уже нельзя: Великий пост. Придется обождать Красной горки. Тогда и повенчаемся, — говорила она, и ее черные бибииковские глаза сияли от счастья.

Качели остановились.

Надо было с небес спускаться на землю.

Глава четвертая

ОЧАКОВ

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу.

Суворов

I

Над русским лагерем у Очакова стояли облака пыли.

Армия фельдмаршала Потемкина располагалась одним громадным каре на пшеничных полях, истоптанных повозками, людьми и лошадьми.

Ветер, дувший из степи, подымал тучи песка. Он набивался в лицо и обмундирование. Им был запорошен весь полотняный палаточный город. Даже роскошные шатры фельдмаршала не избежали общей участи, хотя стояли в середине каре.

Когда русские полки становились вокруг Очакова и Потемкин увидал, что его со всех сторон обступили побуревшие армейские палатки, он, смеясь, сказал:

— Да вы меня, братцы, совсем сжали!

В ответ на это со всех сторон раздалось:

— Сейчас ослобоним местечко, ваше сиятельство!

— Гренадеры, прими вправо!

— А ну, алексопольцы, подвиньтесь малость!

Солдаты любили фельдмаршала: Потемкин заботился о них. Он уничтожил ненавистные им букли и косы и тесное прусское обмундирование. Он запретил офицерам бить солдат.

Хотя какой фельдмаршал сможет запретить жилистому фельд-фебельскому кулаку втихомолку угощать солдата зуботычиной?

Полки отодвинулись подальше от палаток фельдмаршала, чтобы густые армейские запахи — заношенного белья и плохих солдатских желудков — не так били бы в нос командующему.

Армия Потемкина охватила восьмиверстным полукругом турецкую крепость Очаков.

Очаков — с каменными одеждами и башнями — стоял на крутом мысу, на возвышенном берегу Черного моря и Днепровского лимана. Волны подбегали к его каменным высоким стенам, с которых глядели триста орудий.

Перед старой крепостью тянулись ретраншементы, рвы, волчьи ямы, и где-то были заложены мины — измышление французских, европейских инженеров.

Внутри крепости укрывался небольшой городок — лабиринт узких, восточных улочек, кое-где утыканных минаретами.

Очаков был единственной надеждой турок. Крым, ставший русским, не давал им покоя. Турки считали, что Очаков поможет им вернуть утраченный Крым. Очаков запирает выход к морю из Днепровского лимана, у которого русские построили город Херсон.

Ключук-Кайнарджийский мир турки считали простым перемирием.

Послы в Константинополе — английский Энсли и прусский Диц — научили турок: не ждать, а напасть на Россию. В Европе считали положение России плохим: два последних года были неурожайные. И 13 августа 1787 года «вздумалось Блистательной Порте и неблистательным ее советникам объявить войну России», как писала Екатерина II.

Прежде всего турки решили уничтожить русские укрепления на Кинбурнской косе, которая лежит против Очакова.

Первого октября они высадили на косе большой десант, но Суворов опрокинул турок в море. Из пятидесяти тысяч турецкого десанта спаслось не более шестисот человек.

А летом 1788 года армия Потемкина осадила Очаков.

В первую турецкую кампанию 1768—1774 годов никто не обращал внимания на Очаков, а теперь он приобрел первостепенное значение.

Екатерина II говорила об Очакове, что он «южный естественный Кронштадт»: Очаков влиял на развитие и само существование Черноморского флота и на оборону Крыма.

И к Очакову Потемкин стянул все свои силы.

В числе других войск у очаковских стен стояли любимые егеря Потемкина под командой генерал-майора Михаила Кутузова.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ

7

АДМИРАЛ УШАКОВ

455

КУТУЗОВ

707